О РЕЛИГИИ

К сожалению, до связного изложения позиции руки так и не дошли. Чтобы не сложилось впечатление пустоты — хотя бы разрозненные замечания по поводу. Иллюстрации к философии.

* * *

Если какое-то культурное явление существует на протяжении многих столетий — нельзя просто отмахнуться от него, объявить вредной выдумкой и заклеймить позором. Атеисты всех мастей веками изощрялись в критике; однако при этом остается непонятным: а что же, собственно, им не нравится? — почему религию следует критиковать? Ну, не верите вы ни в бога, ни в черта, — что с того? Это ваше частное дело… Глупо ссылаться на то, что попы при каждой возможности стремились задавить в обществе ростки свободомыслия. Во-первых, церковь как социальный институт лишь *представляет* ту или иную религию, не всегда совершенным образом — из-за чего и требуются время от времени церковные реформы. С другой стороны — а зачем же вам-то уподобляться вашим гонителям, если вы такие умные? Ваш атеизм тогда лишь ставит одну религию на место другой.

Разумеется, пока мы живем в классовом обществе, никуда не уйти от классовой борьбы. А борьба идеологий лишь одна из ее форм. Чтобы строить новое, приходится иногда сносить ветхое старье и долго расчищать завалы. К сожалению, никто не застрахован от ошибок и злоупотреблений, когда сносят далеко не лишнее, а строят отнюдь не идеал. Поэтому выстраивать отношение к религии следует на более солидной основе, нежели субъективный (пусть даже классовый) протест. Только после того, как мы поймем историчность религии как таковой, и каждой отдельной религии, когда мы покажем, почему она должна бала возникнуть и при каких условиях может отмереть, — только тогда можно попытать эти условия создать, пусть даже и путем насильственного устранения объективных препятствий. Выращивая розы, приходится их защищать от вредителей. Но пусть это все-таки будут розы — а не гнилой бурьян.

* * *

Религия — первобытная форма идеологии. Не абстрактные фантазии, а продукт долгого исторического развития и отражение всем знакомых реалий каждого дня — хотя и в извращенной форме. И не просто отражение, а еще и моральная поддержка, и практические ориентиры… Невозможно устранить религию, не предложив ничего взамен. Следовательно, требуется активный поиск таких идеологических форм, которые не просто заменяли бы собой религиозные, а качественно их превосходили бы в доступности и практичности, позволяли бы гораздо удобнее организовать сознательную жизнь и деятельность. Не атеизм, не отрицание чего бы то ни было — а новая, нерелигиозная духовность, единство мировоззрения и нравственности.

* * *

Науку пытаются призвать на помощь в борьбе с верой (суевериями). Но для большинства людей наука — такой же предмет веры, как и религиозный миф. Если разум спит, наука его не разбудит. Поэтому физика для обывателя ничем не отличается от уфологии или божественной истории — для него это одинаково научно. А в математике при желании всегда можно усмотреть нечто мистическое.

Пытаются воздействовать на чувства обывателя, живописуя черные деяния церквей любого рода на протяжении человеческой истории. Ну и что? Для верующего это лишь деталь к картине борьбы за веру против неверных. Для неверующего — еще один исторический анекдот, не более; ничьи и никакие деяния не повлияют на давно уже сделанный выбор.

Как же тогда бороться с предрассудками?

А никак. Невозможно с ними бороться — на то они и предрассудки. Единственный способ их выветрить из умов — вытащить умы на свежий ветер творческого преобразования жизни. Надо втягивать (или вгонять) обывателя в процесс созидания нового — и до тех пор держать его в узде, пока он по-настоящему не войдет во вкус и не начнет действовать соответственно общественной необходимости. От религиозности тогда не останется и следа.

* * *

Переписал, было, какой-то человек во времена Омара ибн аль-Хаттаба список Корана и под каждым стихом написал подробное толкование. Омар велел его призвать, ударил кнутом, а затем ножницами разрезал его список и сказал: как смеет подобный тебе рассуждать о смысле слова бога всемогущего и великого?

Популярная легенда о кнуте Омара несет в себе глубокий философский смысл. Как только человек начинает задумываться о смысле писания — он уже не может верить. Религиозный философ — злейший враг религии. Проповедь — отрицание мифа.

* * *

Религия — не просто вера. Это вера осмысленная — понятая как таковая и превращенная в культурное предписание. Последнее гораздо важнее, чем первобытная доверчивость. Одно дело, когда мы зачерпываем из источника чтобы напиться — а совсем другое, когда мы несем воду в город для продажи.

Вера бывает нерелигиозной. Религия — превращает веру в формальность, требует смирения, а не духовности. На каком-то этапе вера в божество перерастает в обожествление религии. И боги становятся не нужны.

* * *

Дебаты вокруг «священных» текстов (включая тексты неписанные: ритуалы, обряды и т. д.) — основное содержание истории любой религии. Церковные соборы намного старше партийных съездов. Канонический текст библии или корана — итог долгой и упорной борьбы фракций, и те из них, которые не подчинятся церковной демократии, отлучаются от церкви, становятся ересями (другими религиями). Не менее драматична история перевода писания на другие языки. По этому поводу эрудированные богословы и лингвисты-текстологи ломают копья до сих пор.

Однако с точки зрения искренней, нерелигиозной веры совершенно безразлично, какими конкретно словами она выражается, и на каком языке. Верующий человек вообще может не уметь читать — и ему нет

дела до всех этих закорючек. И религиозная обрядность ему, в общем-то, ни к чему. Его вера — в душе.

С другой стороны, религиозная вера слепо принимает решения «отцов церкви» — ей ни к чему их обсуждать. Как поп скажет — так и правильно. Для того он тут и поставлен вышестоящей инстанцией.

Выходит, что копаются в тонкостях словоупотребления лишь закоренелые еретики, и именно они становятся главными церковными авторитетами. В этом суть религии: пастыри (волки) и овцы — всегда противоположности, они различны во всем, и потому неразделимы.

* * *

Религия рождается вместе с государственностью (в широком смысле слова — как системой господства одного класса над другим). Первобытный анимизм был безусловно полезен в условиях, когда деятельность человека еще не могла опереться на другие формы рефлексии; и в такой «утилитарной» вере нет ничего религиозного. Она естественно перетекает в образы искусства, научные понятия или философские категории, позволяет упорядочивать мир в сознании ради последующего творческого преобразования — не в субъекте, а в реальности. Чтобы прыгнуть — надо от чего-то оттолкнуться. И качественные скачки в истории нуждаются в культурной опоре.

Роль религии — прямо противоположна. Ее задача — предотвратить какие бы то ни было поползновения изменить существующий общественный строй, сохранить систему господства и порабощения. Религия опирается на догму — и любое творчество допускается лишь поскольку оно не задевает основ. Потом плоды такого, урезанного творчества трактуются в рамках канона и становятся догмами; рефлексии приходится искать новые, еще не освоенные области, чтобы хоть как-то развиваться. На этом спекулируют буржуазные идеологи, представляя дело так, будто бы религия способствует творческим исканиям.

* * *

Материальная и духовная культура — две стороны единого целого. Они зависят друг от друга, но при этом достаточно самостоятельны и

могут развиваться по разным законам. Поэтому религия никогда не может полностью подчинить себе практическую жизнь людей — и даже в сфере рефлексии всегда будут островки свободы, поскольку рефлективные формы обусловлены объективностью повседневной жизни людей.

Однако в определенных исторических условиях религия может оказывать значительное влияние на способ рефлексии. Это не значит, что она совершенно ослепляет общественное сознание — просто нерелигиозная духовность вынуждена выражать себя в религиозных формах, и это неизбежно притормаживает историческое движение. Периоды религиозного фанатизма бывали в истории любой нации; задача историка — выявить здесь объективные закономерности. И в частности, объяснить, почему в некоторых культурах доминирующая роль религии может уравновешиваться относительной самостоятельностью светской культуры, формально принимающей господство церкви — но фактически ей не подвластной. Например, феодальная Европа, по сути дела, вписывала церковь в единую экономическую структуру, так что механизмы влияния религии на общество не отличались принципиально от господства любого крупного феодала в условиях жесткой конкуренции. Напротив, на Руси христианство изначально возникло как религия государственная и слово попа становилось законом и для светской власти (поскольку ее вообще можно было так назвать). Дважды пыталась русская государственность отмежеваться от религии — при Иване IV и при Петре I — и превратить ее в государственный институт, на европейский манер. В полной мере это так и не удалось. Даже в XX веке, на словах объявляя войну всяческой религиозности, советское государство во многом унаследовало ту же культурную схему, и нет ничего удивительного в безудержном разрастании партноменклатуры — подобно раковой опухоли.

Прагматизм европейских религий разительно отличается от деспотизма религий Северной Африки, Ближнего Востока или Центральной Америки. В индийских и китайских религиях оба эти элемента присутствуют в разных пропорциях — от полного слияния духовной и светской власти до подчеркнутого их противопоставления и кажущейся независимости друг от друга (что на деле становится таким

же отождествлением). Однако сама идея власти предполагает и духовное порабощение — поэтому без религии классовому обществу не обойтись.

* * *

Мифология может быть элементом религии — но может и не быть. Миф во многом сродни художественному образу, с тем отличием, что мифологическое сознание синкретично и потому не осознает искусственности образа, воспринимая его как отражение реальности. Как только мы начинаем сознательно относиться к мифу — он испаряется, превращается в нечто совсем иной природы. Религия запрещает обсуждать мифы. Со временем нелепости становятся все более очевидными — но человек религиозный обязан принимать букву писания, не имея права ни на йоту усомниться в точности и правдивости божественной истории. Наивная вера — проходит, как детство; сама по себе — она безобидна. Именно упрямая абсурдность веры делает ее религиозной.

* * *

Сходство не означает родства. Апологеты всех религий ссылаются на похожесть мистического опыта и религиозной мифологии у разных людей и разных народов как подтверждение действительного существования «потустороннего» мира, которые, якобы, различно отражается в разных религиях, оставаясь безусловной реальностью. Но не проще ли объяснить такое подобие иными, более прозаическими причинами?

Психиатры знают, что человеческие галлюцинации, при всей их индивидуальности, в общем-то, не выходят за рамки нескольких типовых сюжетов. Но вместо того, чтобы предположить реальность мира, в котором приходится жить пациенту, его пытаются вылечить, устранить нездоровые фантазии (к сожалению, часто ценой утраты и здоровых переживаний). В какой-то мере психиатрия — это религия наоборот: вместо постулирования мистических причин, сводят все к банальной физиологии, столь же успешно выводя вопрос за рамки человеческой разумности.

Но обратимся к другой «науке», к уфологии. Ее адепты могут предъявить многочисленные свидетельства контакта; эти «документы» тщательно анализируют и усматривают в них единую основу, по которой, вроде бы, можно судить о действительном облике и повадках инопланетян. При этом упускают из виду тривиальное обстоятельство, что рассказчики-то живут не в вакууме, что они с детства наслышаны о пришельцах, читали про них и смотрели в кино… И если кому-то вздумается вообразить себе (или наврать про) встречу с пришельцами, ничего кроме комбинации расхожих сюжетов не получится — ибо выдумать что-то нетривиальное способна лишь очень творческая личность, которую на дурные мистификации вряд ли потянет.

Когда тысячи «свидетелей» описывают привидения примерно одинаково — они лишь воспроизводят ходячие представления, вбитые в подсознание условиями образования и воспитания. Миллионы верующих могут без какой-либо задней мысли поведать об идентичных религиозных переживаниях — и это будет лишь выражением вполне определенной религиозной практики, приучающей людей чувствовать именно так. Разные философы, рассуждая о духе, обращают внимание на одни и те же его стороны и характерные особенности — но, может быть, у них просто не хватает мудрости задуматься и о другом?

Выискивая за эзотерической статистикой потустороннюю реальность, забывают об очевидном, о самой настоящей реальности общества, в котором мы живем, культуры, в которой мы растем, и которая выращивает нас, вместе с нашими склонностями, чувствами и представлениями. Это единственная разумная основа общности человеческого опыта — и религиозного опыта в том числе.

* * *

Иудаизм — одна из самых деспотичных религий. Но именно поэтому он превращается на практике в совершенно циническое приспособление бога к любым житейским потребностям — от счета в банке до смыва в унитазе. Ветхий завет изобилует примерами натягивания веры на всякую мерзость; какими бы ни были заповеди, можно все — если исхитриться втереть небесному отцу очки. Христианство пошло по пути скрещивания религии с моралью; иудаизм с самого начала освободил верующих от каких бы то ни было

моральных обязательств, ибо если бог позволяет, чтобы его надули, — значит, он сам на это нарывается. Талмуд как раз и представляет собой практическое руководство по ханжеству и лицемерию; помимо всего прочего, это логично привело к доминированию евреев в европейской коммерции.

* * *

Христианское учение о таинстве имени отражает, в сущности, простую идею: слова человеческого языка не просто ярлыки явлений — они представляют вполне определенные, объективно сложившиеся и реально существующие общественные отношения. Называя что-либо, человек определяет место предмета в культуре, обычные способы его обнаружения, ближайшие связи и нормальные реакции других людей. Развитие языка, и прежде всего — его словарного запаса, приводит к постепенной перестройке лексико-культурных ассоциаций, так что на протяжении веков они изменяются до неузнаваемости. Например, христианские «святые» представляют в религиозной форме вполне реальные личностные типы (подобные любым другим «архетипам»); христианские личные имена поэтому оказываются «личностно нагруженными» в рамках христианской культуры: поскольку носитель имени с самого раннего детства пропитывается религиозными представлениями, он волей-неволей приобретает и соответствующие поведенческие качества. В современном мире христианская символика имен практически утрачена даже среди христиан — однако личные имена явно коррелируют с характерами или темпераментами. Это связано с тем, что имя, как правило, не придумывается произвольно, а выбирается из некоторого набора, обычного для данной семьи, для общины, для местности или сословия и т. п. Поскольку же социальное окружение накладывает свой отпечаток на формирующуюся личность, возникает косвенная связь имени с совокупностью личностных черт.

* * *

Религиозные идеи о жизни после смерти в мистифицированной форме отражают независимость бытия человека как субъективного духа (иначе: индивидуализированного явления культуры) от его

физиологической оболочки. Если кто-то относился ко мне определенным образом — он не перестанет так же ко мне относиться после уничтожения какого-то куска мяса. Более того, о моей биологической смерти большинство людей долгое время даже не догадывается, ибо живу я не в своем теле — а в них.

При жизни человека всю дорогу заманивают куда-то всяческими поглаживаниями и стращают суровыми наказаниями в случае отхода от (божественных) указаний свыше. И человек остро чувствует свою несвободу, вплоть до принятия смерти как освобождения. Чтобы люди не очень стремились умирать (а то, глядишь, некого будет эксплуатировать!), попы проповедуют сказку о загробном воздаянии. Дескать, все равно не убежишь — так и пытаться нечего. А вдобавок объявить самоубийство грехом, за который на том свете положена совершенно черная кара.

Какой бы ни была политическая подоплека подобных идей, они по-своему выражают нечто вполне объективное. Ад и рай реально существуют — только не где-то по ту сторону всего, а здесь, в нашем мире, по эту сторону зеркала. Если некто внес весомый вклад в развитие человеческой духовности (разума) — человечество отвечает повседневной благодарностью, и дух такого человека живет среди людей в атмосфере почитания и любви. Напротив, мерзкий злодей, успевший натворить много бед, становится их олицетворением, символом зла — и его дух окружен презрением и ненавистью. Если совсем примитивно: кого-то постоянно хвалят после смерти — и он в раю; дух другого постоянно шпыняют — и это ад. Разумеется, трупу в могиле (или безымянному пеплу под бульдозером) это все равно. Но ведь и религия расселяет на том свете не тела, а души людей.

Серая посредственность не оставляет после себя ничего — и для нее нет ни рая, ни ада, а есть просто смерть, как для всякого биологического существа. Поэтому даже религиозное сознание не может довести человека до абсолютно скотского состояния — оно нуждается в капельке духовности, чтобы деяния человека приобрели общественный резонанс, стали культурным явлением. В этом суть всякой праведности (не для себя! — а в качестве назидания другим) или греха (не ради собственного удовлетворения — а напоказ, публично, преступно). То, о чем никто никогда не узнает — не благо, и

не грех. Лишь в общении мы строим себе ад или рай.

* * *

Проповедники всех религий призывают людей стремиться к совершенству — однако это совершенство понимается на религиозный манер и далеко от подлинного, человеческого совершенства. Вроде бы, идет интенсивная работа над собой, осознание высот и постижение глубин… А на деле — разрушение личности, уход от мира, а не творческая созидательность.

Особенно это относится к импорту из Индии и Китая — мистическим «практикам» активного или медитативного плана. Веками выработанные системы упражнений позволяют вырванному из реальной жизни человеку воспитать в себе стойкое безразличие к насущной современности, безалаберность и безответственность — в работе и в быту. Нет ничего важного, не нужно ни к чему стремиться, чего-либо добиваться. И никаких оценок: что сбудется, то и сгодится. Достаточно блюсти душевное равновесие — подобно свинье из греческого анекдота.

Разумеется, такие духовные наркотики не всегда пропитаны религией — особенно сегодня, в эпоху соцсетей и ролевых игр. Исходно мистический ритуал (например, обрядовый танец или смех) позволял первобытному человеку временно укрыться от действительности в условиях слишком жесткого давления извне, чтобы накопить сил на новые схватки с дикой природой. Медитация может быть весьма полезна и как инструмент психологической саморегуляции — как обезболивание бывает необходимо для последующего лечения (учитывая несовершенство современной медицины). Как обычно, религия переносит такие «методики» в культовую сферу путем выхолащивания их действительного содержания, догматически закрепляя внешние формы. Наркотик уже не просто временное облегчение — а самоцель, источник кайфа. Людей сажают на иглу, чтобы управлять ими, либо снабжая очередными дозами, либо демонстрируя ужасы ломки.

Легко видеть, что это вырождение человеческой духовности выгодно власть предержащим, поскольку оно начисто отбивает у людей вопросы о разумности экономики и общественного строя, и тем

надежнее уводит от чересчур революционных настроений. Если все равно — то и менять что-либо незачем. Понятно, что буржуазная система промывания мозгов стремится активно продвигать как восточную «экзотику», так и доморощенные технологии «очищения» душ от человеческих страстей, потребностей и привязанностей.

* * *

Этнография призвана дать внешний облик той или иной культуры, представить ее во всей ее уникальности. Только на этой основе можно приступать к построению обобщенных схем, выделяющих в массе единичностей нечто, на наш взгляд, фундаментальное.

Однако не бывает факта самого по себе, безотносительно к уже сформировавшимся воззрениям и методам исследования. Образование и воспитание ученого существенно сказываются не только на общей направленности его работы, но и на его логике, и на характере представления результатов. Естествознание начинается с выработки правил и процедур, позволяющих если не устранить, то хотя бы ослабить этот произвол, создать устойчивую фактуальную базу, связывая таким образом различные поколения и научные направления в нечто целостное. Этому способствует устойчивость и определенность самого предмета, не успевающего значительно измениться по ходу исследования. Не так с гуманитарным знанием. Абстрагироваться от культурных веяний тут почти невозможно, поскольку именно они представляют главный интерес. Чем более отстранен исследователь от своего предмета, тем меньше пользы от его деятельности. Гуманитарий вынужден в какой-то мере солидаризироваться со своим объектом, стать его частью — и только так обнаружить в нем богатую содержательность. Но в таких условиях особенно важно обладать развитым чувством меры — не переступая зыбкую грань между наукой и апологетикой.

К сожалению, капиталистическая наука (в том числе естествознание) изначально пропитана религией, и ее факты зачастую выражают не собственную логику предмета, а привнесенные извне культурные предписания. Особенно это касается этнографических описаний. Всеобщий предрассудок, будто жизнь примитивных народов выстроена по религиозным канонам — это типичный случай проекции

собственной ограниченности, с больной головы на здоровую. Практически все, кто занимается изучением первобытных культур (палеонтологи, археологи, историки, лингвисты и т. д.), сознательно или нет, стремятся интерпретировать наблюдаемое в религиозно-догматическом ключе. Даже в советской науке примат религиозных интерпретаций в древней истории бросается в глаза — при всей официальной материалистичности (в скобках: излишне пристальное внимание к смене *властителей*, вместо изучения истории *народа*, — из той же серии).

Да, жизнь древних была тесно переплетена с их верованиями — это, вроде бы, лежит на поверхности. Но придавая этим верованиям религиозный характер, этнограф выдает желаемое за действительное. С тем же успехом можно объяснять популярность рок-музыки или попсы ее особым мистическим настроем, приобщающим человека к божеству… На самом же деле, все с точностью до наоборот: религиозные предписания врастают в народную культуру лишь поскольку они вписываются в ее собственные иллюзии о строении мира и возможных способах воздействия на него. Поэтому попы всех народов и времен, отчаявшись искоренить языческие повадки паствы, вынуждены приспосабливать пережитки первобытного анимизма к церковной догматике, давать нерелигиозному обряду религиозную интерпретацию, — и с них берут пример ученые-этнографы.

С другой стороны, степень влияния иллюзорных представлений на деятельность людей в зарождающемся обществе сильно преувеличена. Если бы люди в реальной жизни вместо практических соображений руководствовались своими фантазиями, ни о каком экономическом и социальном развитии не могло бы быть и речи. Однако трезвая логичность повседневного поведения не столь заметна, а красочные ритуалы бросаются в глаза. Не умея воссоздать картину действительной жизни, этнограф или историк наивно верит всему, что ему открыто предъявляют. Точно так же буржуазные историки или экономисты судят об исторических реалиях на основании писаных законов или официальных отчетов — не умея разглядеть за «документами» их неформальной основы. А липовый документ сочинить недолго. Чем власти испокон веков и занимались, переписывая историю с выгодой для себя.

* * *

Говорят, что религия несет людям утешение, и нашем сумасшедшем мире иначе просто не выжить… С этим, пожалуй, можно согласиться — чтобы потом взглянуть на вещи шире.

Да, некоторые ищут (и находят) в религии утешение. Но, во-первых, не все, а во-вторых — не только в религии. Немало и тех, кто травится водкой, глушит себя наркотиками, бросается в секс или азартные игры, ввязывается в рискованные авантюры… Способов уйти от реальности, вероятно, столько же, сколько этой самой реальности — ибо любая деятельность может быть доведена до исступления, до безумия, превращена в мираж, в убежище. Чем бегство в религию лучше бегства в рукоделие, в живопись, или в математику?

Все для чего-то полезно — в умеренных дозах. Наркотики — это прежде всего анестезия, притупление души, чтобы не так больно было ее лечить. Но сами по себе они не лечат. И при бесконтрольном использовании превращаются в свою противоположность, обостряют болезнь. В идеале, медицина должна развиваться в сторону все менее травматичных технологий, с минимумом побочных эффектов; роль анестезии при этом понемногу сводится к нулю. Но даже там, где врач вынужден причинять боль, из всевозможных способов ее преодоления следует выбирать тот, который не ведет к тяжелым осложнениям, — чтобы не падать из одной бездны в другую. Разумеется, пока медицина остается коммерческой, нежелательные побочные эффекты ей очень даже желательны; так медики по-своему сажают пациентов «на иглу», обеспечивая себе неиссякаемый источник дохода.

Медицинские метафоры по отношению к религии становятся иногда буквальными. Например, психотерапия сегодня смыкается с религиозной пропагандой: церковная реклама соблазняет консультациями психолога, а психологи-консультанты убеждают страждущих во что-нибудь обязательно поверить — или хотя бы пристраститься к одной из многочисленных мистических «практик», вкладывая в них именно мистический смысл, жажду исцеления «святым духом», а не просто путем полезного упражнения. Психотерапия опирается не на разум, а на веру — в сочетании с догматами той или иной психологической школы образуется нечто вроде секты; отсюда два шага до прямого признания авторитета

господствующей церкви (как минимум, чтобы не нарываться на политические неприятности).

* * *

Европейско-американские изыскания в области восточных культур отличаются навязчивой религиозностью. Сами авторы могут об этом даже не догадываться — они честно полагают, что преследуют сугубо научные цели, фиксируют объективные факты, ищут первоисточники и занимаются документоведческой экспертизой. Однако стиль анализа, характер описаний и перевод смыслов опирается на традиционные предрассудки, привычку увязывать быт с религиозной традицией.

Бросается в глаза, как серьезно относятся исследователи к словам служителей всевозможных культов. Расстановка приоритетов, оценка исторических событий, формальные предписания — весь этот официоз становится основой «реконструкции», а от неграмотных масс ничего в «документальной» истории не осталось, и учитывают их мнение разве что в качестве малой поправки. Критическое отношение, объективность историки демонстрируют, уточняя хронологию, сопоставляя разные версии одного и того же, — но мелкие неувязки не портят стройной картины общественного устройства и нравов с точки зрения верхов, для которых эта мнимая стройность всегда была главным оправданием.

Оставляя в стороне историю материальной культуры и классовых битв, посмотри пристальнее, как принято подавать публике культовую обрядность и «священные» тексты. Заранее предполагается, что за всем этим стоит некая особая мудрость — неважно, преподносится она в качестве божественного дара или сокровищницы культурного опыта. Сама идея эдакого первобытного мудреца, у которого нам следует учиться, — это уже проекция современной догматики на нечто сырое и неоформленное, привносящее в него такие культурные структуры, которые первобытности не свойственны и появились гораздо позже.

Далее, поскольку эта высшая мудрость никак себя на деле не обнаруживает, удобно объявить ее иррациональной, невыразимой в слове — но при том сохраняющей особую содержательность, логике европейца якобы недоступную. Дескать, чтобы приобщиться к восточным истинам, надо уподобиться людям Востока (под которыми почему-то понимаются исключительно обитатели монастырей, далекие

от реалий повседневной жизни), поверить на слово многочисленным гуру якобы испытавшим нечто совершенно неописуемое, накачать себя галлюциногенами — и узреть такое, что в здравом уме и трезвой памяти никак в голову не придет.

Но почему, собственно, мы должны разинув рот слушать всякого попа, пытающегося впарить нам какую-то мистическую чертовщину? Чем его мудрость лучше нашей, проверенной сотнями и тысячами лет созидательного труда?

Тут начинают рассуждать о политкорректности и непредвзятом отношении к далеким от европейского склада культурам. На деле же выходит, что содержание любой культуры приспосабливается к нормам одной, вполне определенной идеологии, а любые несоответствия либо замалчиваются, либо интерпретируются в удобном для автора ключе.

Например — пресловутая проблема перевода. Понятно, что разные культуры по-разному относятся к миру; отсюда неизбежные различия образного строя, понятийных систем и категориального аппарата. Даже в Европе, при всем родстве исторических судеб, перевод, например, с немецкого языка на французский или английский представляет иногда почти неразрешимую задачу, так что приходится довольствоваться неполными, приблизительными и очень условными соответствиями, дополняя их многочисленными оговорками и комментариями. Тем более это справедливо в отношении древнеиндийских памятников, буддистских текстов или китайских философских трактатов. И вот, мы наблюдаем, как ученый автор открывает изумленной публике тонкие оттенки смыслов какого-то восточного писания, заодно демонстрируя глубокое владение тамошними языками. Однако читателя не оставляет мысль, что к этой мощной эрудиции неплохо было бы добавить чуть больше знания своего родного языка, дабы суть вопроса стала понятна каждому и без религиозного гарнира.

Так, нам с упоением рисуют иерархию ступеней сознания, якобы досконально исследованную десятками восточных мудрецов. Где-нибудь в индийских джунглях или в горах Памира святые отшельники бережно хранят сокровенное знание, попутно обучая детей и взрослых погружаться в себя посредством тренировок. И даже денег за это не берут, поскольку их спонсируют многочисленные международные фонды, заинтересованные в спасении «духовных» ценностей от всяких

там атеистов — которые не дают западным почитателям восточной культуры запросто себя грабить.

Но мы народ простой — и смотрим прежде всего, во что оно выливается на практике. Есть спрос — есть предложение: рынок завален башковитыми «гуру» по сходной цене; на выбор десятки надежнейших «практик», стопроцентно позволяющих довести себя до чего душеньке заблагорассудится. Однако, по мере ознакомления с этим обширным хозяйством, возникает упорное чувство ошибки в переводе, когда словом «сознание» обозначают совсем не то, что под этим понимают люди обыкновенные, а как раз нечто обратное — отказ от всяческой сознательности. Получается, что все силы буддиста (или какого-нибудь йога, даоса, суфия, шаманиста…) направлены к тому, чтобы максимально подавить в себе чувство реальности (а стало быть, и желание что-либо в ней изменить), отрешиться от мира — и созерцать одну лишь пустоту; при этом высшая цель — смерть, окончательное уничтожение всякого сознания.

Конечно, занятому повседневным трудом обыкновенному человеку отрешиться от сознания очень сложно; чтобы подавить в себе искру разума — требуются мощные психоделические технологии. Можно уйти в наркотики, можно заменить их духовным наркотиком, религией. Бесконечное повторение мантры ничем по сути не отличается от укола, выпивки или курева. На практике, опять же, одно частенько сочетается с другим. Другой вариант — культ тела. Это и спорт, и тренажеры, и просто драка (стыдливо-эвфемистически именуемая единоборством). Буддистские монастыри в этом смысле ничем не лучше наркопритонов. Логично возникает мысль, что религиозные переводы восточных текстов становятся возможны именно в силу родства европейских и восточных религий: у них одна суть — умерщвление духа.

Когда бы переводы ведических, буддистских и прочих «духовных» текстов правильно передавали их смысл, мистические «откровения» утратили бы значительную долю своей привлекательности для западного обывателя; если европейские религии таким же способом перевести бы на человеческий язык — клиентуры у попов заметно поубавится. По жизни, так оно постепенно и происходит, поскольку спрятать бездуховность за словами родного языка труднее, чем в непонятностях языка экзотического.

* * *

Если восточному мистику дать европейский автомат и европейский динамит, он превратится в заурядного террориста, с которым долго и безуспешно станет бороться мировое сообщество. Если же дать ему немного европейских (или американских) денег, он построит еще одну мистическую школу и сможет вместо тел убивать души — а это терроризмом не считается и не наказуемо.

* * *

Спросили как-то большевика Ленина, может ли поп быть членом коммунистической партии? Может, — не задумываясь ответил тот, — если он разделяет ее программу, придерживается ее устава и работает в одной из первичных партийных организаций.

Поистине, золотые слова! Но золото не только блестит — оно еще и тяжелое… С одной стороны, мы оставляем проблему совмещения свободы совести с партийной дисциплиной на личное усмотрение товарища попа и не предписываем ему, как он должен исповедовать диалектический материализм. С другой стороны, сама возможность такого совмещения означала бы внутреннее родство партийности и религии, и демократический централизм оказался бы родственником церковной иерархии, а трудовой энтузиазм — разновидностью экстаза. Человеку в полной мере разумному не по пути ни с той, ни с другой догматикой — хотя иной раз может показаться, будто, ради правого дела, он мог бы предпочесть одну из них.

* * *

Русские всячески пытаются компенсировать вековую культурную отсталость, старательно пытаясь убедить самих себя в том, что чуть ли не все успехи мировой цивилизации имеют русские корни. Точно так же попы всех мастей выводят любое творчество из религиозных чувств и традиций, объявляя культуру в целом следствием религии, своего рода популяризацией церковных «истин», пристройкой к храму. Ясно, что искусными толкованиями кого угодно можно загнать в монастырь. Особенно удобно это в отношении тех, кто уже не может возразить по причине своего телесного отсутствия среди нас. Например, немало

умельцев причесать ученого и поэта Омара Хайяма под правоверного суфия, якобы иносказательно проповедующего своими творениями основы истинной веры. Человек здравомыслящий не усматривает в математических рассуждениях и ехидных частушках никакой мистики. Но тут ему предъявляют какого-нибудь знатока древностей, который будет тыкать в нос староперсидскими текстами и разжевывать каждую букву, самоуверенно заявляя, что современники Хайяма понимали это именно так. Поскольку далеко не всякий сведущ в языках настолько, чтобы обоснованно возразить, проповедники рассчитывают на легкую победу и готовят кошели под заслуженный гонорар. Аналогичные трюки проделывают и с европейскими деятелями разных времен.[1]

Однако толкование — не основание. Это всего лишь частное мнение толкователя. Разумеется, одно из таких мнений может оказаться близко к истине — но только то из них, которое далеко от мистики, и трезво учитывает закономерности развития человеческого общества, материальной культуры и рефлексии. Что угодно можно истолковать в религиозном смысле — от палеолитической «Венеры» до творений Рабле, музыки Альбинони, марксовой теории прибавочной стоимости или теоремы Ферма. У иного обывателя и обыкновенный компьютер превращается в предмет преклонения или мистического ужаса.

Никто не говорит, что отношение к действительности непременно должно быть рациональным — есть много вещей, далеких от науки, но весьма и весьма в жизни полезных. Любовь, например. И вовсе не обязательно загонять все это в храмы и капища. Вполне возможно, что кое-кто (но отнюдь не каждый) во времена Хайяма мог считать его чернокнижником или пророком. Значит ли это, что сам Хайям верил в религиозные бредни? Никоим образом. Даже если бы он выглядел убежденным суфием (чего на самом деле не наблюдается), это не основание для громких заявлений о его подлинных убеждениях. Иногда вполне светские взгляды (сознательно или бессознательно) прячутся под маской нарочитой религиозности — кому нужны лишние неприятности в этой и так не слишком-то приятной жизни? Даже самооценка автора ничего не говорит о подлинных мотивах его

[1] В наши дни пошла мода на беллетристику по поводу сексуальной жизни общеизвестных исторических лиц — идеологический заказ тут уже и не скрывают.

деятельности и общественной значимости его труда. Нельзя верить гениям на слово. Например, Гегель — величайший из философских революционеров — заслужил славу махрового реакционера, защитника религии и монархиста. Любое явление культуры получает собственно культурную оценку лишь в исторической перспективе. В реальной жизни творчество далеко от однородности, и у великих бывают вещи сугубо конъюнктурные и проходные, отписки от навязчивостей бытия. Гений — не тот, кто не знает неудач, а тот, кто умеет использовать их как удобрение для подлинных шедевров.

Омар Хайям, талантливый астроном и математик, на досуге развлекался сочинением четверостиший в простонародном жанре — как еще недавно в России народ импровизировал частушки на деревенских посиделках. Конечно же, эти куплеты пели на злобу дня — и они могли иногда намекать на сколь угодно возвышенные споры, включая богословскую тематику. Самая последняя деревенщина не изолирована от жизни — и легко впитывает бродячие идеи; тем более было бы странно, если бы ходовые мотивы не отразились в поэзии ученого мужа. В каком-то смысле Хайям стал злым гением персидской частушки — поскольку его талантливые импровизации заинтересовали суфиев-мистиков, которые потом и превратили рубаи в орудие религиозной пропаганды — хотя, конечно, на легкомысленность народных попевок это не повлияло, и большинство последующих поэтов продолжали использовать этот жанр в качестве злободневного куплета, пусть даже с философскими обобщениями где-то в глубине. Но искусство — это прежде всего искусство, и оно подчиняется своим законам, далеким от надобностей идеологической борьбы. Одни и те же слова иначе осмыслены в контексте стиха, нежели в обыденной речи или философском трактате. Поэтому смело посылайте подальше многознающих толкователей — они выучили язык, но неспособны воспринимать поэзию.

* * *

Когда отдельные верования складываются в систему, они способны оттеснить способность суждения и стать основным способом рефлексии. Это вполне подобно тому, как страхи шизофреника постепенно развиваются в обширную и внутренне стройную картину

мира, так что в какой-то момент человек оказывается уже неспособен отличить искусственность своих гротескных представлений от реальности. Система подчиняет себе своего создателя.

Лечение болезни требует разрушения заслоняющих мир фантазий; но поскольку они стали ядром личности, это означает и разрушение личности. Поэтому шизофреник всячески сопротивляется лечению — и готов убить себя, лишь бы не перестать быть собой. Точно так же, атеистическая политика государства встречает жесткий отпор в душах верующих.

Как быть? Там, где общество способно выстроить другую систему отношений, объективно отрицающую духовные кошмары, можно оставить больного с его иллюзиями — они все равно будут на каждом шагу наталкиваться на разумность бытия и понемногу потеряют системный характер. Даже если человек останется в плену болезни — это уже не так разрушительно для него и для общества. Однако в современной действительности общество, напротив, лишь закрепляет гротескное видение мира, постоянно поставляя примеры вполне реального уродства и ужасов существования. На этой почве легко и здоровому сойти с ума. И тут появляются бессовестные дельцы, готовые повернуть чужую болезнь к собственной выгоде. Политики и попы (что почти одно и то же) сознательно подчеркивают мифические мотивы, и наоборот, стараются замаскировать суть происходящего, скрыть от людей действительное положение вещей. Борьба с религией в этом контексте становиться борьбой за утверждение нового общественного строя, не допускающего корыстных интересов, идейных манипуляций.

* * *

В религии само наличие предметов культа и «священных» текстов уже выводит за границы веры. Вера, ведь, потому так и называется, что не требует внешнего подкрепления, она вполне самодостаточна. Веру невозможно воспитать, ей нельзя научить — и напоминать о ней нет никакого смысла. Любые попытки что-либо здесь регламентировать предполагают, что сама по себе вера долго не продержится, жизнь ее постепенно размоет и разрушит, — а стало быть, надо отгородиться от жизни барьером догм, поставить на место веры в сверхъестественное

сверхъестественность самой веры. Когда мы верим в нечто, нами же созданное и постоянно воспроизводимое в (ритуальной) деятельности, никакие внешние обстоятельства не могут поколебать наше видение мира, поскольку мы просто хотим видеть его так, а не иначе, — и все остальные возможности нам просто не интересны. Любая другая деятельность, поскольку она связана с переустройством реального, а не выдуманного мира, так или иначе будет направлять наше восприятие, корректировать его по мере развития способов деятельности и освоения новых предметных областей. Вере в этом контексте отведено очень скромное место, а любые заблуждения, даже самые упорные, в конце концов уступят голосу разума, которым Вселенная разговаривает сама с собой.

* * *

Пытаясь изложить чью-либо точку зрения, мы все равно излагаем свою. Говоря о других — лишь примериваем их роли, прикидываем, как мы бы поступили в аналогичных обстоятельствах. Соответственно, и чужую точку зрения мы способны уяснить лишь отчасти, больше основываясь не на том, как кто-то что-то воспринимает, а на том, как мы представляем себе их восприятие. Когда представляем более или менее правильно — можно идти дальше; вылезают странности — пора задуматься о самокритике. Даже в физике мы были свидетелями грандиозной ломки представлений о том, как разные наблюдатели воспринимают пространство и время, — со всей определенностью можно ожидать не менее масштабных революций и в будущем. Что уж говорить о гуманитарном знании, которое изначально завязано на злобу дня, подчинено политическим веяниям!

Стало быть, объективное знание невозможно? Вывод логически хромает: как раз напротив! — только последовательное сопоставление объекта с субъектом, их взаимоопределение в рамках предметной деятельности, логически допускает (и требует), чтобы одно было представлено в другом. Только отделяя себя от объекта, человек становится субъектом; только участвуя в сознательной деятельности, часть материального мира становится объектом, открывается субъекту с какой-то стороны. И только так, в практике, мы можем избежать абсолютизации наших представлений о мире, превращения их в догму.

И открыть для себя бесконечность развития, осознать эфемерность любых границ. А через это — выбить почву из-под ног религиозных пропагандистов.

Не верьте, когда сколь угодно крупные ученые пытаются убелить себя и вас в непредвзятости и ни от чего не зависящей истинности их науки. Истина в том, что любая наука освещает свой предмет лишь с одной стороны, и только в пределах достигнутого уровня понимания. Пройдет время — и взгляды могут измениться. Меняется мир, меняемся мы — поэтому не может не измениться наша картина мира; в этом и состоит настоящая объективность.

Но к чему это я? А к тому, что нельзя заниматься исследованием традиционных верований и религии тому, кто питает к ним хотя бы минимальное пристрастие. Трепетное отношение к словам служителей культа и прочих шаманов мешает осознать их истинную роль в культуре, заранее объявляет их выразителями настроений общества в целом. Вместо того, чтобы выяснять как этнос устроен, академический писатель верит на слово правящему меньшинству, пропагандирует его политические устремления, выдавая желаемое за действительное. А народ вовсе не обязательно разделял навязываемые ему сверху мнения и принимал всерьез вековые установления. Даже принимая во всем этом постоянное и непосредственное участие. Если современный человек наряжает елку под Новый год — это вовсе не означает, что ему пришло в голову задобрить могущественных демонов или ублажить души предков; для большинства это просто развлечение, способ на мгновение вырваться из рутины будней. Папу римского большинство зевак на ватиканской площади воспринимает как еще одного клоуна, звезду шоу-бизнеса; при этом публичная демонстрация христианских чувств и внешняя атрибутика становятся просто условностью игры. Кто-то млеет от прикосновения к святым мощам — другой в экстазе от носков американского президента, купленных на благотворительном аукционе… Страсть к развлечениям сильнее любой веры, и чем первобытнее бытие — тем попсовее сознание. Сами служители культа порой увлекаются собственным театром настолько, что теряют чувство реальности и начинают по-настоящему верить. Как правило, это быстро приводит к столкновению интересов — и новоиспеченных пророков

ставит на место начальство, или забивает камнями толпа искателей традиционных увеселений.

Можно с учетом всего этого всерьез требовать исследования религии с точки зрения самой религии, а народную духовность сводить к банальному официозу? Никоим образом. Стремлением глубже понять изучаемую культуру тут и не пахнет — поскольку проникается исследователь очень предвзято и однобоко; ссылка на формальные требования, якобы предъявляемые к методикам сбора эмпирического материала, в данном случае — просто неуклюжая попытка спрятать собственные мистические наклонности.

Изучение религии с точки зрения самой религии, или этнического сознания с точки зрения самого этого сознания, изнутри, — методологически неосновательны. Наука начинается как раз там, где мы умеем отстраниться от предмета, сравнить его с чем-то внешним, другим. Именно такое сопоставление разных культур дает нечто новое, обогащает обе эти культуры. Попытка же оставаться внутри одной культуры — обычный (а часто религиозный) догматизм. Сохранить здесь означает: убить.

Только глядя извне мы можем заметить неоднородность культуры, ее многослойность, разноплановость — и конечно же, ее историческое развитие. Здесь действует своего рода принцип общекультурной относительности: невозможно в движении почувствовать само это движение — каждый наблюдатель покоится в собственной системе отсчета. Чтобы осознать, насколько изменилась жизнь, надо пространственно или исторически отделиться от нее, посмотреть на себя со стороны. Например, смотреть на прошлое с точки зрения настоящего (а на настоящее — с точки зрения будущего). Подчеркивание преемственности — чисто политическая спекуляция, желание примазаться к чужим достижениям, когда собственных не хватает. Совершенно то же самое можно сказать и о религиозной науке о религии.

* * *

Бесполезно спорить о том, какая религия более истинна — или хотя бы более прогрессивна в определенную историческую эпоху. Ни

одна религия не имеет ни малейшего отношения ни к истине, ни к прогрессу. Людям может иной раз показаться, будто они в чем-либо руководствуются религиозными принципами и нормами — но это всего лишь иллюзия, кажимость. Просто у них не оказалось других форм осознания чего-то совершенно практического, к мистике и догматике не имеющего ни малейшего отношения. Такое культурное содержание и дает впоследствии повод говорить об истине или прогрессе, а слова, которыми все это обозначается, на суть происходящего не влияют. Можно назвать паровоз святым духом — но в топку уголек все-таки подбрасывать придется, и цепляют его к вагонам отнюдь не постом да молитвой…

* * *

Суеверные исследователи суеверий заранее предполагают полное равноправие любых воззрений, независимо от их разумности. Конечно, в самой бредовой идее отражается нечто вполне реальное, и можно, при желании, построить мистифицированную картину мира, которая будет практически приемлема и полезна в определенных обстоятельствах, в пределах одной, (естественно или искусственно) изолированной от внешних влияний субкультуры. Однако отрицать развитие человеческих представлений о мире, их расширение и углубление по мере освоения все новых областей действительности, — это уже политическое решение.

* * *

Первобытные представления о мире, несмотря на всю их фантастичность, не лишены внутренней стройности и последовательности. Они по-своему практичны — поскольку и возникают-то они в ответ на вполне житейские вопросы, как одна из попыток осмыслить действительность, необходимый предварительный этап для более глубоких исследований. Это никак не отменяет примитивности первобытного анимизма и мифологического сознания по сравнению с более развитыми формами рефлексии. Однако высшие уровни не просто пристраиваются к чему-то уже существующему, они должны выкристаллизоваться в процессе его собственного развития,

хотя бы и с учетом всевозможных культурных влияний. И нельзя форсировать этот процесс, навязывать людям несвойственные для их круга идеи. Они просто не поймут, о чем идет речь, и зачем вообще это нужно. Сколь угодно передовая наука останется для обывателя совершенно неубедительной. Попробуйте объяснить современному крестьянину технологии анализа и модификации генома — он просто пошлет вас подальше и займется привычными сезонными работами. Тем более это так при столкновении с реликтовыми культурными слоями, где-нибудь в индонезийской глубинке, или в дебрях Амазонки. Хотя и в цивилизованной Европе немало тех, кому цирковое представление говорит гораздо больше, чем художественные изыски или теоретический авангард (и это отнюдь не делает их неполноценными членами общества).

Когда некто в состоянии посттравматического стресса начинает терять контроль над конечностями и слышит голоса, призывающие смерть, современная медицина нередко отступает — зато местный шаман здесь, якобы на высоте: бытует (и всячески поддерживается заинтересованными лицами) мнение, им часто удается вернуть в тело «жизненную силу», просто уговаривая ее вернуться и завлекая ароматическими травами и звуком погремушки. Склонный к мистике этнограф назидательно замечает: «Внешнему наблюдателю, незнакомому с туземной системой верований, вся эта процедура кажется нагромождением суеверного вздора. Для информированного наблюдателя такое лечение, в контексте имеющихся у аборигенов представлений о душе, есть вполне логичная реакция».[2]

Но речь-то как раз и идет о том, что логические реакции первобытного человека зачастую выражают недостаточность его представлений об устройстве мира и потому являются *именно* суеверным вздором! Пытаясь освятить невежество и дикость (которые сами по себе не религиозны) — автор занимается религиозной пропагандой.

То, что абориген охотнее воспримет действо шамана, нежели современную терапию, совершенно очевидно. Ему это ближе и понятнее. То, что психосоматика важна при лечении любых болезней,

[2] A. J. Labbé, in: *Ontology of Consciousness* (H. Wautischer, ed.), MIT (2008), p. 156

включая весьма далекие от психологии (например, инфекционные), — это общеизвестный медицинский факт (о котором, к сожалению, многие практикующие врачи склонны забывать). Пытаясь лечить аборигена современными средствами, врач может, сам не замечая, нанести ему серьезную психологическую травму, и на улучшение состояния надеяться уже не приходится — хорошо еще, если не станет хуже! Однако эффективность «традиционной медицины» (следовало бы выражаться точнее: знахарства) сильно преувеличена. И вреда от нее отнюдь не меньше. Некритичность религии становится в таком случае удобным оправданием и прикрытием для гнилого бизнеса. Ибо куда проще списать провал на потусторонние происки, нежели задуматься, что же пошло не так, и как следовало бы помогать людям по-настоящему.

* * *

Во многих религиях так или иначе эксплуатируются наивные представления о субъективности — часто выстроенные в довольно сложную иерархическую конструкцию. В простейшем случае — любят поговорить и высшей и низшей душе. Однако мифология склонна сама себя подпитывать, и неизбежно появляются «глубокие» изыскания в области демонологии и «тонких материй». Это нормально, такая игра в познание всегда предшествует подлинному знанию, так заявляет о себе сама потребность знать и понимать.

Несомненно, в подобных мифологических построениях есть зерно истины, и возникают они не на пустом месте, а в контексте вполне определенной культуры, которую, в конечном итоге, и отражают, и становятся одним из ее выражений. Но когда вопросы мистической иерархии подают под соусом божественного откровения, как источник потусторонних истин, становится сначала смешно — потом противно.

Понятно, когда невежественный человек пытается корявым языком выразить нечто, очень для него важное — и у него это плохо получается. Такие «теории» всегда сводятся к формулам первобытного чутья: есть же тут что-то такое, а еще и другое, а еще и не такое, как первые два… Но вот приходит поп (неважно какой религии, или даже совершенно светской породы) и заявляет, что все эти различия суть выражение вечной природы чего-то божественного; название каждая

религия придумывает на свой вкус, и может даже объявить это совершенно невыразимым в словах — что, впрочем, тут же становится своего рода названием. То, что было игрой, пробой сил, — теперь на полном серьезе, превращено в догму и утверждает бессилие разума.

Но почему нужно обязательно все мистифицировать? Возьмем, к примеру, пресловутое различие «духа» и «души» как двух «этажей» субъективности. По этому поводу европейские богословы успели наплодить тонны литературы, так или иначе отталкивающейся от «оригеновой ереси», и гораздо более ранних античных источников. Но в сущности, эти «духовные поиски» сводятся к осознанию[3] простой вещи: живое отличается от неживого, а разум не сводится к одной лишь биологии. Соответственно, есть нечто, чем живое существо отличается от мертвого тела — или чем разумный человек отличается от неразумного скота. Называть это душой и духом, или еще как-то, — вопрос второстепенный. Важна сама принципиальная несводимость одного к другому, качественное различие разных уровней иерархии. Как только такое понимание есть — можно идти дальше, искать связи, выявлять историческую преемственность, описывать переходные формы… Иерархия развертывается по-разному в разных контекстах, порождая, в частности, и все известные «мистические» иерархии, вместе с их рациональным объяснением. Религии здесь просто некуда приткнуться. «Духостроительство» теряет налет мистики, и выходит из моды. Указывая разумную основу мифологических систем, мы тем самым указываем на их ограниченность, переводим из разряда догм в сферу частных культурных явлений, по-своему необходимых в составе целого, но не вызывающих ни малейшего пиетета.

* * *

Мусульманская (христианская, иудейская или иная религиозная) культура возможна лишь постольку, и в той мере, в какой она культурна — а значит, относится не к единичности вероисповедания, а к универсальной основе разума, единой для всех культур. Как только мы лишаем мусульманскую культуру этой всеобщей основы, она перестает быть собственно культурой: это всего лишь заготовка, сырой

[3] Иногда в форме отрицания.

материал для культурного строительства — и еще не факт, что в груде мусора отыщется что-нибудь подходящее.

То же самое можно сказать и о культуре этнической, включая как материальную культуру, так и сколь угодно развитые рефлективные формы. В частности, не может быть искусства (науки, философии) в узко национальных рамках — суть культуры именно в преодолении различий и утверждении единства. Творчество — это свобода, ему тесно в любых границах.

Религия — враждебна свободе, она стремится подавить в человеке творческое (то есть, собственно человеческое) начало, подчинить его «божественной» догматике (то есть, попу и начальнику), сделать рабом (неважно, чьим — божьим, помещичьим, буржуйским, — или просто рабом собственной животности).

Мусульмане всего мира дружно ополчились на «Сатанинские стихи» Салмана Рушди. Не все, конечно, призывают отрубить ему голову — но однозначно воспринимают его книгу как явление, враждебное духу ислама. Я пытался объяснить этим людям (даже весьма эрудированным, с университетским образованием, обладателям ученых степеней), что роман — это художественное произведение, а не богословский трактат, и надо искать в нем искусство, а не политику, обсуждать образный строй, художественную ценность — а не соответствие законам шариата.[4] Мне отвечали, что я не понимаю, что мои европейские корни не дают мне увидеть текст глазами восточного человека… И продолжали клеймить еретика.

К сожалению, европейских корней у меня нет. И я знаю, что ислам (как и любая другая религия) полон поведенческих ограничений и запретов. В частности, запрещено изображать живые существа — а любое художественное произведение создает яркий образ, независимо от присутствия собственно картинок. Образ, ведь, не в материале, а в душе. И в этом аспекте роман Рушди, с его мощной образностью,

[4] В одной из таких бесед мне напомнили о «Персидских письмах» Монтескье, которые поначалу были встречены публикой враждебно, как противные христианскому духу и европейской ментальности. Но Европа как-то сумела преодолеть пережитки средневековья; возможно, когда-нибудь и для мусульман Рушди станет классиком мировой литературы.

казалось бы, противен духу ислама.

При всем том, было бы неверно полагать, что «Сатанинские стихи» напрямую связаны с вероучением ислама и религиозными текстами. Художник в каждом произведении создает некий вымышленный мир, который в каких-то чертах может напоминать другие миры — но никогда не повторяет их. Статуя Будды, роман про Мухаммеда или рок-опера про Христа — это вовсе не их портреты или жизнеописания. Литературный штамп: все персонажи вымышлены — и любое сходство с реальными лицами чисто случайно. Конечно, при желании можно усмотреть мистическое содержание в чем угодно, и любой предмет (а не только храмовые изваяния, иконы, священные книги или мантры) может стать намеком на нечто иное, непосредственно в нем не содержащееся. Но такой смысл предмету придает не его создатель, а тот, кто им в соответствующих целях пользуется, и если это намек на что-то дурное — кого винить? Культ вырастает из вещей; библия и веды годятся для этого так же, как «Хоббит», «Мастер и Маргарита», «Гавриилиада», «Звездный путь», музыка Jethro Tull или речи генсека. Каждая религия отбирает круг «официальных» символов — но в любом случае это всего лишь символы, а не само божество. Путать одно с другим — это уже фетишизм.

Рушди нигде не занимается анализом или критикой ислама — у него сугубо художественные задачи. В книге сталкиваются несколько миров — но это лишь подобие миру исламской истории, индийской общины или английской буржуазности. Художественные миры нарочито искусственны, они призваны увести читателя от пошлых бытовых реалий к мировоззренческим и нравственным проблемам. Так математические абстракции в физике дают возможность мыслить судьбами Вселенной, а не расположением проволочек в приборе (хотя последнее тоже где-то существенно). Даже если заняться поисками публицистического подтекста, никаких нападок на ислам обнаружить в книге нельзя. Скорее, именно западная культура обвиняется в подрыве нравственных основ и опошлении духовных ценностей — именно она вливает в души сатанинские стихи, заставляющие людей убивать друг друга.

С другой стороны, характер запретов в исламе далек от какой-либо однозначности. Можно как угодно толковать тексты — но последнее толкование всегда принадлежит богу, и ни один человек, сколь угодно

просвещенный или высокопоставленный, не вправе навязывать свое мнение остальным и препятствовать спорам. В конечном итоге, каждый сам решает для себя — и получает за это соответствующее воздаяние. Ибо сказано: «Оставь то, что внушает тебе сомнение, и обратись к тому, что сомнений у тебя не вызывает». Ислам не дает верующим права считать себя правыми: любое решение окажется справедливым только если это будет угодно богу («иншалла!»).

Изображение живых существ запрещено потому, что (и только в той мере, в которой оно) уподобляет человека богу: такой человек должен быть наказан за гордыню. Однако наказывает именно бог, а не человек. Никакие сторонние мнения в расчет не принимаются — это, как бы, личное дело человека и бога, и решается оно между ними. Пытаясь уподобиться богу в своем суде, люди совершают куда более тяжкий грех. В любом случае, преследовать художников ислам права не дает.

Точно так же, держать в доме художественные творения — значит, ставить человеческое творение выше божественного, и «ангелы не входят ни в один дом, в котором есть изображение». Но опять-таки, речь не идет о людском осуждении и каких-либо преследованиях по земным законам, ибо только богу известно, для чего происходит что-либо на земле.

Толкование воли бога — уподобление богу, и это предосудительно. Допустим, какие-то люди все же имеют право судить и вершить правосудие — и тем самым исполняют волю бога. Но в таком случае, не справедливо ли считать, что и художник в акте творения вовсе не подменяет собой бога, а лишь становится его орудием и создает только то, чего требует от него высшая сила и власть? Тем самым признается божественность творения, а не творца, и никакого греха на художнике нет, а даже совсем наоборот — точное следование воле небес.

Конечно, не всякое изображение — от бога (собственно, об этом и книга Рушди). Подлинное искусство не в совершенстве формы, оно божественно прежде всего по своему содержанию. Осуждению подлежат лишь образы малохудожественные, вульгарные, созданные с целями, далекими от искусства. Вполне возможно, что именно таковы были изображения на пресловутой занавеске Айши…

* * *

Мистически настроенные «ученые» открещиваются от обвинений в религиозной пропаганде, подчеркивая, что религия — это социальный институт, а их дело — описывать традиционные представления и верования, ритуалы — так, «как они есть», объективно и непредвзято. Независимо от того, как ко всему этому относятся местные религии.

Однако важно не только, что именно мы описываем, — но еще и сам способ описания. Одно и то же можно изучать по-разному.

Как только мы допускаем саму возможность самостоятельного бытия сверхъестественных существ или магического воздействия на мир одной лишь силой воображения — мы объективно способствуем укреплению позиций религии. Независимо от нашей религиозности и личных намерений.

Для того, чтобы описывать вещи как они есть, нужно с самого начала принять, что за мистическими представлениями и магическими ритуалами стоят вполне реальные культурные явления, связанные с определенным уровнем развития производства и способов рефлексии. Это не вопрос научности — это вопрос о первичности материи и вторичности духа. И решается он не исходя из бытующих в науке методологических установок, а на уровне идеологии. Либо встать на материалистические позиции и сразу перевести любые «чудеса» в разряд принципиально постижимого (в том числе рационально) — либо открыть дорогу «потусторонним» влияниям, которыми в человеческом обществе заведует религия. Сидеть между двух стульев — долго не получится, ибо малейшая примесь мистики перевешивает сколь угодно объективные методологии, позволяет истолковать целое в религиозном ключе.

* * *

Говоря о реальном содержании религиозных культов (и прежде всего, их мифологии и обрядности), допускают банальную логическую ошибку: форма отождествляется с содержанием. Предполагается, что рассказы о таинственных видениях, мистических переживаниях или практической магии относятся именно к каким-то потусторонним реальностям — или, по крайней мере, к особым уровням сознания,

которые, ничтоже сумняшеся, объявляются высшими и вещими к самой истинной истине… На самом же деле, содержанием «эзотерического опыта» оказываются совершенно обычные культурные процессы, которые лишь отражаются массовым сознанием в иллюзорных формах. И вместо того, чтобы заниматься классификацией духов, следовало бы внимательнее присмотреться к устройству повседневной жизни людей.

* * *

Религия не просто противопоставляет себя разуму — она активно борется с ним. И тем самым провоцирует разум, пытается втянуть его в противостояние, вынудить вступать в бой. Но любая борьба, пусть даже вынужденная и необходимая, — это отступление от разумности. Побеждая религию, разум побеждает и себя. Однако если на место мертвой религии не может прийти ничего кроме еще одной, в точности такой же агрессивной шавки — из праха убитого разума вырастает другой, более высокий разум, до которого религии трудно дотянуться, которому просто нет до нее дела — и воевать с ней он не собирается.

* * *

Человек в своей деятельности не просто пересоздает мир, он еще и меняет формы самой деятельности — пересоздает самого себя как часть мира в целом. На каждом историческом этапе, в каждой конкретной культуре, формы сознательной деятельности отражаются в сознании вполне определенным образом, который столь же объективен, как и любые иный явления культуры. Однако поскольку материальная культура первична — развитие форм рефлексии запаздывает не только логически, но и исторически; строение субъекта лишь асимптотически воспроизводит строение культуры в целом, а в каждый конкретный момент можно говорить только об относительной адекватности.

Это в частности означает, что наука о человеке не может опираться на интроспекцию — хотя не возбраняется использовать ее в качестве вспомогательного материала, как источник наводящих соображений. Можно сколь угодно точно фиксировать самоотчеты и традиционные интерпретации — например, на тему предполагаемых контактов с потусторонним миром, — однако все это минимальным образом влияет

на формирование эмпирического базиса какой-либо науки — хотя и может, например, быть использовано в рамках культурологического исследования распространенности тех или иных форм рефлексии.

Конечно же, мифы возникают не на пустом месте, они по-своему выражают какие-то стороны окружающей нас действительности. Но отражение в кривом зеркале мифа сильно искажено, и надо еще догадаться, что именно оно изображает. А это работа для серьезного ученого, а не пропагандиста религии.

Разумеется, изучая человека, мы не можем игнорировать его субъективные представления о себе, его ощущения и переживания. Но и слепо доверять им — тоже не имеем права. В некоторых случаях врач обязан не верить пациенту — хотя фантомная боль для того не менее реальна, чем настоящая, а (само)внушение может вызвать совершенно реальные физиологические сдвиги. Но если врач полагается только на результаты «объективных» исследований и не обращает внимания на реакции пациента — это другая крайность, вполне подобная тому, как вульгарный атеизм упрямо занимается «разоблачением» частностей религии, не замечая, что на месте одной отрубленной головы вырастает сразу три.

Научность того или иного метода — не абсолютна, она связана с общим методологическим контекстом; но сам этот контекст историчен, ибо любая методология оправдана лишь в рамках относительно стабильной культуры, а в других культурных условиях может быть объективно вредна.

Никакие методологические решения не гарантируют истинности. В любой методологии, при желании, возможно отыскать логические погрешности или эмпирическую несостоятельность — что никоим образом не умаляет ее значения в соответствующем концептуальном контексте. Бурные споры о формах исследования зачастую просто бессмысленны, ибо критерием истины в конечном итоге может быть только практика. Если, допустим, в современном мире привидения никак не участвуют в народном хозяйстве, если из представлений о привидениях нельзя извлечь ничего кроме самого факта наличия подобных представлений, — никакое изучение привидений не сможет подняться выше уровня псевдонауки, и совершенно неважно, в какой мере при этом используется интроспекция. С другой стороны, если

речь идет о снижении доли травмирующих методик в медицине, даже неадекватные субъективные ощущения следует учитывать, чтобы по возможности их нейтрализовать.

* * *

Интерпретация разного рода артефактов напрямую зависит от установок исследователя. Почему-то буржуазные этнографы склонны любую безделушку истолковывать как предмет культа, они не допускают мысли о том, что изготовление подобных безделушек могло быть всего лишь формой образного освоения мира, попыткой выразить то, что не может (а иногда и не должно) выражаться в словах. Любые «искажения» естественных черт или пропорций мистически трактуют с точки зрения неких (адаптированных из собственной религиозности) представлений о сверхъестественном, которые современные «ученые» хотели бы приписать далеким предкам. Мистически трактуется все: позы, выражения лиц, предметы одежды и быта, черты животных и растений… Персонажам даже приписывают якобы очевидные эмоции; однако чтобы их усмотреть — требуется очень богатое воображение.

Но даже если какое-то изображение действительно связано с наличными культами, вовсе не факт, что оно проникнуто религиозным пиететом — с тем же успехом это можно расценить и как гротескный юмор, и как попытку осмысления.

Например, от древних племен центральной Америки остались многочисленные фигурки колдунов или шаманов с рогом на голове. Мистически настроенные этнографы всячески борются за то, что это выражение особых сил, которые якобы вселяются в шамана в ходе ритуального действа. С порога отметаются возражения, что такова могла быть «униформа» колдуна, его «театральный костюм»; дескать, повязки вокруг «рога» изображены так, что они никоим образом не могут удержать этот предмет на голове, — при этом почему-то забывают, что предмет может крепиться не к голове, а именно к повязке, играющей роль оправы, или что закрепить нечто на голове можно вообще без всяких видимых повязок (как это с успехом делают театральные гримеры). Однако даже если принять, что рог на голове был именно «знаком отличия» шамана, символом сверхъестественных способностей, еще требуется доказать, что изображения такого рода

носили сколько-нибудь мистический характер, а не были просто репортажем о ходячих представлениях того времени и официально принятых ритуалах, как об одной из сторон жизни вовсе не обязательно определяющей повседневное бытие. Скорее, наоборот: в первобытном искусстве изображалось прежде всего то, что выходило за рамки обыденности, — но само-то искусство от этого не становилось религиозным. Рог мог восприниматься просто как символ, метафора, — а вовсе не «действительная эманация», как утверждают современные мистификаторы.[5]

На основании подобных толкований пытаются убедить публику, что современные представления о сознании нуждаются в коррективах с учетом мистического опыта миллионов людей в разных уголках земного шара. Но, во-первых, сам этот «мистический опыт» сильно преувеличен; во-вторых, нуждаются в корректировке, скорее, куцые представления современных мистиков, а отнюдь не последовательно материалистический подход к вопросам души и духовности.

* * *

Попы на каждом шагу подчеркивают, что человеческая культура во всех своих чертах восходит к религии. Аргументация либо отсутствует (ну как же! это же общеизвестный факт!) — либо ссылается на чисто внешние обстоятельства: древность самих религий, использование мифологических образов, церковное финансирование крупных культурных проектов… Однако внимательный взгляд обнаруживает, что дело всегда обстояло как раз наоборот: любые достижения человеческой культуры религия старается подмять под себя, лишить их общекультурного статуса и сделать предметом культа. Даже то, что поначалу вызывает у церковных властей бурное отторжение, рано или поздно вписывается в канон, становится лишь одной из догм. Ради этого церковь даже готова признать прошлые ошибки; очевидное противоречие догмату о непогрешимости церкви — ничуть не весомее других внутренних противоречий, которыми религия нашпигована под

[5] Вспомним здесь о том, что короны европейских монархов зачастую снабжались многочисленными «рогами»; не следует также забывать и о «рогатых» шутах (и даже шутовской колпак, по сути дела, есть вариант символического рога).

завязку.

* * *

Важный элемент религиозного отношении к действительности — поиск объекта преклонения. Неважно, есть бог или нет; главное — мы всегда можем что-нибудь обожествить. Что конкретно — не все ли равно? Преклоняться можно перед чем угодно — независимо от того, достойно оно хотя бы минимального уважения или нет. В качестве объекта сгодится светская власть, деньги, художественный дар или математика… При некотором старании, можно обожествить даже само обожествление — и получить религию без бога.

Когда от индивидуального преклонения (религиозного отношения) происходит переход к социальному — возникает религиозный культ.

* * *

Опровергать труднее, чем защищать. Если чего-то у вас нет — это не значит, что и у других нет, просто вы не принадлежите к числу избранных... Можно принять, что вечный двигатель невозможен — и сослаться на всеобщий закон сохранения энергии. Однако всегда остается подозрение, что вы со своими законами чего-то не учли, и где-то обязательно есть предел их применимости. Предъявят вам реально работающий вечный двигатель — будьте добры подстроить под это ваши теории…

Поэтому, в частности, атеистическая пропаганда не предполагает борьбы с верой — она борется с религией. Не с тем, чего нет, а с тем, что очень даже есть, и мешает людям жить. А самая лучшая критика — показать, что без религии в реальной жизни вполне можно обойтись. Кого-то убедят рациональные доводы — кому-то придется наглядно продемонстрировать, как устроить жизнь без духовных цепей.

В области рефлексии, однако, этого недостаточно. Здесь надо еще и сами формы рефлексии освободить от мистических коннотаций. Хорошо, пусть вопрос о существовании бога к делу не относится. Но, ведь, представления о богах были? Спрашивается: почему и зачем? Волей-неволей, придется брать каждый кусочек культа и лишать его обаятельной чудесности — искать действительную основу и указывать

объективные границы бытования.

Верующие всячески настаивают на существовании души как самостоятельной сущности — и на возможности общаться с душами умерших, видеть духов (названия могут различаться — но суть одна). Отговорки что, дескать, все это могло им привидеться по причине не совсем нормального состояния — не убеждают. Какая такая норма? Если большинство не видит духов — это не значит, что их нет. Просто они по каким-то причинам не умеют. Например, мужчины никогда не испытывают родовых мук и многолетней пытки климаксом — но попробуйте доказать, что женщинам оно только кажется! Для них это самое настоящее мучение, избавление от которого сыграло бы куда более значительную роль в деле антирелигиозной пропаганды, чем самые скандальные разоблачения.

За духовидцами есть своя логика. Да, конечно, подавляющее большинство «видений» — не более чем бред, галлюцинации (хотя и галлюцинации возникают не просто так, для них всегда есть повод). Однако здесь уместно вспомнить и о том, что для последовательного материалиста субъектность, дух не есть нечто, принадлежащее биологическому телу, — это прежде всего общественное отношение. Организм умер — но значительная часть общественных отношений, в которых он участвовал, может сохраняться еще очень долго, и в этом смысле дух умершего продолжает жить. Например, Гитлер умер — но его дух безусловно витает в местах скопления неонацистов (как это и отражено в языковом стереотипе).

В каких-то условиях и при достаточной предрасположенности люди могут представлять себе такие «посмертные» общественные в форме зрительных образов. Более того, ничто не мешает с подобными «фантомами» общаться, и даже получать от них информацию! Мы, ведь, способны принимать близко к сердцу написанное кем-то пару веков назад — ни о каком биологическом контакте тут и речи быть не может. В наше время доля непосредственного общения неуклонно сокращается — и можно поддерживать тесное общение с кем-то на протяжении многих лет, так ни разу и не увидев «виртуального» собеседника, не зная его имени и жизненных обстоятельств, — и даже не будучи уверенным в реальном существовании сетевого персонажа, за которым, например, как за Козьмой Прутковым, скрывается «группа

товарищей». Оказывается, что целостная личность вовсе не нуждается в определенном биологическом теле — одно и то же в разное время может быть по-разному реализовано.

Это можно сравнить с технологиями визуализации, широко распространенными в науке и технике. Мы не способны напрямую видеть звук, небо в рентгеновском спектре или органические молекулы; однако все это вполне возможно визуализировать в соответствии с определенными принципами, и такая визуализация на практике бывает полезнее абстрактного описания. Более того, визуализировать можно и абстрактные понятия — так, например, вошла в моду инфографика. В конце концов, даже письменность представляет собой один из способов визуализации языка — это же сплошное общественное отношение.

Так мистические представления о душах и призраках получают вполне рациональное и строго материалистическое объяснение. Более того, оказывается возможным обсуждение исторических условий, способствующих мистификации общественных отношений, и путей преодоления старинных предрассудков.

* * *

Из области юмора:

Кто-то поклоняется предкам, кто-то обожествляет своих детей, а кому-то хочется просветления лично для себя… Христианство решает прибрать всех — и продвигает бога, который одновременно и отец, и сын, и дух святой.

* * *

Для первобытного человека вера в чудеса совершенно естественна, это лишь субъективное отражение фрагментарности и ненадежности имеющихся представлений о мире. Поскольку человек ограничен — сколь угодно развитая картина мира все равно окажется неполна, и это снова и снова порождает наивность веры. Однако разумное отношение к собственной неразумности позволяет использовать первобытные пласты субъективности для подготовки новых этапов развития духа, и взрослому человеку толика детской непосредственности не повредит.

Религия подменяет веру в чудо верой в сверхъестественное. А это

вовсе не одно и то же. Чудо — удивляет и притягивает, это предвестник открытия. Сверхъестественное — внушает страх холодной неприступностью, оно изначально непостижимо и открывается только по указанию свыше (отсюда и приставка «сверх-»). В этом плане даже «потустороннее» — ближе и человечнее. Религиозные чудеса идут не от природы, они выражают классовый интерес: каждому в обществе поставлены границы, переступать которые запрещено. То, что традиционная мораль объявляет неприличным и предосудительным, а право делает опасным и наказуемым, в религии приобретает характер метафизической неотвратимости, греховности и вечной вины.

* * *

Классовый характер религии проявляется в самой постановке вопроса: речь всегда идет о личном «спасении», «просветлении», приобщении к божеству. Все внимание — на себя. Естественным образом, весь остальной мир тогда оказывается в тени, становится потусторонним. Именно этого и добиваются господа, им вовсе незачем привлекать внимание рабов к общественным несовершенствам. Если у вас что-то не так — это ваши личные проблемы, и решайте их внутри себя, не лезьте в карман богатому дяде. Здесь религия плотно стыкуется с буржуазной психотерапией — не удивительно, что церковь стремится узурпировать функции психологической помощи и взять под крыло соответствующие социальные службы, тогда как практическая психология понимает свою задачу в узко-субъективном плане, как примирение личности с окружающей действительностью — если действительность при этом мириться не торопится, «примирение» сводится к уходу в себя, к смирению.

Человеческий подход — полная противоположность. Мы начинаем с вопроса о том, что следует изменить в окружающем мире, как его разумно переустроить. И только исходя из этого решаем, что требуется изменить в себе, как мы можем сейчас, в реальных исторических условиях, способствовать утверждению разума.

Деятельное отношение к миру срывает классовые маски. Господам приходится признать, что они стремятся исключительно к сохранению своего господства, а рабам — открыть в себе мерзкую привязанность к рабскому существованию. Вместо уютного болота — море непростого

труда. Но надо решать проблемы, а не обожествлять их.

* * *

Есть люди, которые на полном серьезе занимаются привидениями. Собирают свидетельства, усматривают в них закономерности, и даже выдвигают гипотезы…

В принципе, ничего предосудительного в этом занятии нет. Всяк развлекается, как умеет. Некоторые, скажем, коллекционируют марки; другие копаются в архивах и сочиняют себе красивую родословную; кто-то классифицирует сказки в поисках «архетипов», или сравнивает разные языки с целью «реконструкции» их единого предка… В разумных пределах любая игра занимательна и полезна. Но если вдруг невинные развлечения становятся для кого-то источником средств безбедного существования — тут стоит призадуматься. Одно дело — когда вы за удовлетворение собственных потребностей выкладываете свои кровные; совсем другое — когда вам за это еще и приплачивают. Капиталиста заподозрить в искренней филантропии трудно, и если он отстегивает круглую сумму на теорию квантовых трубочек в мозгах или этнографию шаманизма в Центральной Америке — за этим, скорее всего, скрывается вполне осязаемый дивиденд.

Разумеется, при некоторых условиях любое хобби способно стать чем-то более значительным, перерасти в культурное явление. Так, один патентный чиновник в свободное от работы время (и благодаря жене, освободившей его от бытовых заморочек) уединялся себе на балконе, развлекаясь компиляцией ходовых сюжетов из тогдашней физической журналистики — теперь мы с неизменным почтением произносим его имя, хотя и не понимаем толком, в какой мере все эти релятивистские фокусы отличаются от цирковой ловкости рук. Любительские гербарии выросли в науку ботанику; каталогизация творений Баха — повод внимательнее присмотреться к истории культуры в целом. Точно так же, собрание историй о привидениях могло бы оказаться общественно полезным, и даже стать наукой. Если понять, о чем, собственно, идет речь. И тут как раз начинают играть идеологические установки.

Да, есть факт: люди в разных концах земного шара склонны передавать из уст в уста мистические истории о якобы имевших место встречах с «духами», общении с умершими, визитах в другие миры и

так далее. Однако если этот «эмпирический материал» попытаться развить в подобие науки, такая наука своим предметом будет иметь именно «привиденческую» мифологию, корпус легенд, — но вовсе не содержание рассказов, не привидения как таковые. Пытаться вытянуть из рассказов о привидениях знание о привидениях как самостоятельных сущностях (то есть, об их объективном существовании, хотя бы и под именем «духов») — все равно что на основании древнегреческих мифов «восстанавливать» историю богов, по библейским сказкам изучать геохронологию, или классифицировать чертиков по отчетам хронических алкоголиков. Миф всегда опирается на примитивные представления о реальности — но это зачаточное знание выражено в мифе лишь аллегорически, как намек, как указание на предмет — но не предметность в собственном смысле. Чтобы открыть действительность мифа, надо прежде всего уйти от наивного отождествления речи с ее содержанием, отличить мотивы от мотивировок, личины от лиц.

Мистически настроенные «ученые» заранее предполагают, что привидения существуют — и под эту априорную идею натягивается фактический материал. Ни для кого не тайна, что любое наблюдение можно интерпретировать с разных точек зрения, включая полностью противоположные. И чем фантастичней «объяснение», тем легче оно приклеивается к чему угодно. Если я допустил опечатку в тексте — не иначе, черт попутал; если споткнулся на улице об оставленную кем-то железяку — это меня бог наказал; если денег нет — ясное дело, транспозитировались в нуль-пространство!

Не меньшей фантастичностью отличаются и популярные взгляды на блуждающих «духов» как «нематериальные» сущности, как души, отделенные от тел. С одной стороны, это удобно: не надо заботиться об объяснении отличий живого от неживого — дескать, живет душа сама по себе, а если вдруг поселится в теле — то и тело, вроде как, оживает. Точно так же, как математики просто объявляют число, или множество, первичной математической сущностью — и, вроде бы, можно не заморачиваться вопросами эмпирического обоснования постулируемых свойств. Вспоминается у Ван дер Поста (1968):

> Помню, как один священник объяснял мне сущность зигзагообразной арки: «Нечистая сила подобна носорогу. Она всегда несется по прямой. Мы строим мост по ломаной линии, и

> нечистая сила не может по нему пройти — она срывается с края и тонет в стремнине посредине реки».

С другой стороны, подобная лихость неизбежно приводит к неудобным возражениям из рядов разного рода варваров, еретиков и отступников. Почему собственно, призраки нематериальны? и что вообще, пардон, вы понимаете под материальностью? В философии материя — то, что есть само по себе, безотносительно к каким бы то ни было личностям. Если блуждающие души существуют именно таким образом — они материальны, в общефилософском смысле. И если вы нам предъявите хоть одно всамделишное привидение, мы сможем изучить, например, его физические свойства или особенности его психики. Если же вы допускаете, существование духа отдельно от тел, то каким образом эти «духи» могут показываться людям, или разговаривать с людьми, если зрение и речь (пусть даже внутренняя) — это вполне материальные процессы? Придется признать, что ваше нематериальное умеет неплохо взаимодействовать с материальным — и чем они тогда различаются? В конце концов, само соединение души с телом (хотя бы временное) есть факт необъяснимый с позиций господ-мистиков — и потому-то они называются мистиками, а не учеными.

Если мы все-таки занялись изучением «духов», мы, конечно же, обязаны допустить их самостоятельное (объективное) существование и не приписывать им заранее каких-либо свойств помимо тех, на которые указывает имеющийся в нашем распоряжении эмпирический материал (пусть даже очень косвенного характера, вроде детских ужастиков или анекдотов). При этом мы должны также отдавать себе отчет в том, что от одних только наших предположений предмет науки появляться не обязан — изучаемое следует искать в реалиях нашего бытия, как один из пластов человеческой культуры — а отсюда уже выводить его объективную организацию. И конечно же, нельзя полагаться на единственный источник информации — любой реальный объект проявляет себя в различных отношениях и обнаружим разными методами. Подобная «дополнительность» — обязательное требование в науке, хотя сама по себе не гарантирует объективности.

Допустим, что сказки о привидениях указывают на некоторое распространенное культурное явление. Однако это может быть все что угодно, помимо, собственно, привидений. Разумный исследователь

займет осторожную позицию и попробует выяснить, что происходит на самом деле. Его задача — объяснить, как нечто реальное приводит к типичным отчетам респондентов, как в объективных обстоятельствах возникает субъективное впечатление. Отношение к словам остается неизменно критическим, поскольку каждое слово — это намерение, интерпретация, аффект. Не отвергать с порога — но и не верить, кому попало.

Современный человек слаб в рефлексии — он далеко не всегда отдает себе отчет в происходящем. Поэтому опросы и беседы — лишь предварительная ступень к настоящей науке, ориентировочная стадия, поиск предмета. Социологические методы — та же интроспекция, на уровне коллективного субъекта. Полагать, что подобного самокопания достаточно для постижения мира — это уже идеологическая позиция, в последовательной реализации называемая солипсизмом.

С точки зрения логики, если миллионы человекообразных видели духов — это пока еще история про миллион видений, а вовсе не про реальность духов (что бы под этим не понимать). Одни лишь наблюдения, сколь угодно систематические, до науки не дотягивают. Для нее важна произвольная воспроизводимость, умение вызвать эффект по собственному желанию. Собственно, вся наука и заключается в том, в определенных (общественно воспроизводимых) обстоятельствах мы должны наблюдать нечто вполне определенное.

Но и этого недостаточно. Например, наверняка можно подобрать такую комбинацию химических препаратов, от которой всякий человек (при определенном уровне культурности) начнет видеть «нечто». Можно даже предположить, что форма и цвет этих образов будет меняться в зависимости от дозировки. Вместо химии можно с таким же успехом использовать медитативные технологии и гипноз. Ну и что? Значит ли это, что и в других случаях все дело в соответствующей «накачке», а не в чем-то еще? Никоим образом. Одинаковость явлений не означает одинаковости вещей. Звезда и капля воды в невесомости принимают форму эллипсоида вращения (в частности, шара); но физика тут совсем разная. Если написать уравнение диффузии — что оно описывает? Электрический ток, грязное пятно на воде, или запах розы?

Для науки требуется не единичная, а общественно необходимая

воспроизводимость — практика. Когда нечто регулярно и сознательно воспроизводится в повседневной жизни людей, наука может подсказать более эффективные способы воспроизводства. А как привидения используются в народном хозяйстве? Да никак. По большому счету, это всего лишь игра. Но в капиталистическом обществе на всем можно сделать бизнес; игры и религия — не исключение.

Ну, хорошо. После отсеивания откровенно мистификаторских историй остается какое-то количество отчетов предположительно о чем-то свидетельствующих. Что-то с этими людьми действительно происходило, и отмахнуться от их впечатлений мы не имеем права. Назовем это, например, «видениями». А потом будем разбираться, что тут от галлюцинации, что от иллюзии, что еще от чего…

Но давайте начистоту. Кто и когда видит духов? Как правило (если не всегда) это люди малоразвитые, внушаемые, привычно следующие стереотипам. Или же те, кто (по разным причинам) не может в полной мере использовать свой духовный потенциал — и психика переходит в одно из пограничных состояний с нарушениями самоконтроля и частичной утратой сознания. Напрашивается вывод, что «видения» — свойство недоразвитой психики, некультурности, а может быть — личностной травмы.

Однако не все так просто. Физиология (включая нейрофизиологию) имеет к субъективности лишь косвенное отношение, как один из способов ее культурной реализации. Видеть я могу все, что угодно — важно, как я к этому отношусь. Пока я способен критически оценивать свои непосредственные впечатления и отличаю себя от собственного организма — мои видения лишь обогащают мой личностный опыт и не только не делают меня духовно неполноценным, но вполне могут быть использованы для активной работы над собой — и выразиться в объективно необходимой деятельности.

Следует подчеркнуть, что уровень духовного развития не связан напрямую с образованием. Можно окончить десяток университетов — а остаться суеверным дикарем. Распространенность суеверий среди образованных людей говорит не о реальности сверхъестественного, а о качестве современного образования, которое сводится, в основном, к накоплению формальных знаний, вместо творческого отношения к действительности, к усвоению стереотипов — а не к избавлению от

них. В этих условиях разнообразие навыков и богатство воображения уже не признак разумности, а наоборот, свидетельство хаотичности, неорганизованности; вместо личностной иерархии — нечто плоское и примитивное. Разум ограничивает буйство фантазии практическими требованиями — не дает подменять собой действительность.

Буржуазная «наука» (не только социологическая) идет на такую подмену совершенно сознательно — ее направляют классовые интересы «заказчика». Мутные мозги обывателя — самое подходящее место для политической рыбалки. Границы между знанием и мифом размыты, и уже не отличить космологию от уфологии, генетику от герменевтики, естественную историю от священной истории. Под эту дудочку и статистика иллюзий запросто сойдет за образец научной методологии.

Поскольку ни одного настоящего привидения обнаружить так и не удалось, верующие в духов «исследователи» пытаются убедить себя и публику, что вполне достоверные сведения о сверхъестественном можно получить путем «правильной» обработки субъективных отчетов, если выработать строгие и «научно» обоснованные критерии отбора и интерпретации. Первым делом в ход пускают проверенное орудие дезинформации — статистику. Если тысячи людей в разные эпохи и в самых разных культурах поразительно сходятся в своих ощущениях и переживаниях — не значит ли это правоты их субъективного опыта, соответствия его действительности? В том-то и дело, что не значит! Если заранее предполагать, что субъективность ничем не обусловлена, что она есть проявление чего-то потустороннего, — тогда конечно. Но для разумного человека повторяемость спиритуалистических идей — свидетельство объективности законов общественного устройства, снова и снова приводящих с тем же фантастическим представлениям в сходных общественных условиях, на определенном уровне культурного развития.

Но в рукаве у «сверхъестественников» есть еще один козырь — идея абсолютной беспристрастности знания, его высшей мистической самоценности. С некоторых пор это называется позитивизмом. Дескать, науку делают люди, а люди якобы все равно судят о мире на основании своих личных ощущений, так что всякий научный опыт есть, вроде бы, тот же субъективный отчет — и научность науки определяется, по этой

логике, только формальными критериями. Я не случайно вставил столько оговорок. Логика позитивизма порочна в каждой фразе. Как многие неоднократно показывали, суть этой, с позволения сказать, философии сводится к одному: никакой действительности вообще нет, зато есть начальство, которое произвольно решает, что тут истина, а что нет, — и всем остальным лучше не высовываться с возражениями. А то могут и на хвост наступить. Позитивизм — апофеоз официальной, институализированной науки, загнанной в институты и академии, в солидные журналы и престижные премии.

Применительно к «духовидцам», требование абсолютной (то есть, потусторонней) объективности принимает форму так называемого «принципа методологической симметрии»: если вы утверждаете, что духов нет, ваше отношение к отчетам о встречах с привидениями будет предвзятым, если вы не объясните, почему, по вашему мнению, духов нет. Иначе, дескать, вы заранее предполагаете, что рассказы ничему не соответствуют, что это галлюцинации и т. п. — а это против «научной этики»… Эдакий современный вариант старого спора, когда верующий возражает атеисту: а вы докажите, что бога нет!

Жульничество в самой постановке вопроса: если кто-то нам постоянно твердит про духов — значит, есть тема для разговора! Ибо мистическая история — такой же источник знаний, как вся остальная научная эмпирика, и мы не можем заранее отказать в правоте такому свидетельству, каким бы невероятным оно не казалось.

Ну, насчет равноправия не будем. О любителях присочинить всем известно, на этом, в конце концов, держится мировая беллетристика. Про политических врунов тоже разъяснений не требуется. А есть и те, кто по простоте душевной: им почудится что-то — так потом накрутят фантазий около. Иначе не интересно.

Тем, кто добивается «методологической симметрии», надо бы сначала посмотреть в зеркало и 1) отказаться от предположения о достоверности субъективных отчетов, хорошенько проверять каждый звук, подключая объективные критерии и анамнез, и 2) сопроводить эти отчеты всесторонним анализом сопутствующих «видению» объективных обстоятельств (чего ни один «духописатель» пока не сделал, и вряд ли сделает). Если при этом окажется, что в большинстве относительно правдивых историй «видения» появляются только при

(частичном) отключении человеческого сознания (стресс, алкоголь, наркотики, медитация, духовная неразвитость, невежество), то разумнее связать их именно с этими наличными обстоятельствами, а не объяснять чем-то сугубо предположительным.

На самом же деле, никакой «методологической симметрии» нет и быть не может. Критерий истины — практика, и потому сортировать наблюдения и оценивать их мы обязаны исходя из текущих потребностей и перспективных направлений развития культуры. Наши методы определяются самим устройством нашего мира, который будет неизбежно расширяться по мере освоения человечеством мира в целом, единого и единственного. Это материализм. Как только мы допускаем что наши наблюдения способны открыть нам существование «чистой» субъективности, не отягощенной материей, — это уже идеализм, переодетая поповщина. Под любым именем, это не более чем еще один способ пропаганды религии, когда наука сводится к вере, научные понятия отождествляются с суевериями, и все отличие, вроде бы, только в системности и общественном признании. Да, с точки зрения строения культуры в целом, и наука, и вера принадлежат сфере рефлексии — но это не означает их совпадения. Например, можно было бы уксус и яйца считать одним и тем же — поскольку это продукты питания; но согласитесь ли вы на яичницу из уксуса?

* * *

Некоторые «исламские» государства берут на себя смелость осуждать нередкие случаи появления изображений традиционных исламских персонажей на страницах европейских газет и журналов. Угрозы авторам или издателям, погромы и убийства — обычный арсенал средств устрашения.

Да, у мусульман не принято рисовать людей. Но прямого запрета никогда не было — и преследовать тех, кто нарушает традицию, было бы слишком вольным, греховным толкованием ислама Тем более, когда речь идет о представителях иных народов, к исламу отношения не имеющих.

Но аллах с ними, с мусульманами. Проблема в том, что Европа оказалась неспособна противопоставить исламскому экстремизму практически ничего. Провозглашая себя поборниками прав человека и

личной свободы, буржуазные идеологи с самого начала включили в перечень основных прав и свободу выбора вероисповедания — и тем самым подложили «европейским ценностям» бомбу замедленного действия. Свобода совести в буржуазном понимании превратилась в веротерпимость — а это не одно и то же. Можно позволить гражданам верить во что угодно, и даже подкармливать соответствующих попов. Но как только мы допускаем, что публичное поведение граждан может исходить из религиозных норм — мы вступаем в резкое противоречие с самой идеей «гражданского общества». Религиозные чувства, которые буржуазный политик так боится оскорбить, ставятся тем самым выше закона и культурной определенности наций. А это значит, что дан зеленый свет открытому противоборству различных религий, когда каждая стремится обеспечить себе доминирование на политической арене, как минимум лоббируя свои интересы в органах власти — и то и внедряя религиозные нормы в национальное законодательство. Тут уж никто и не вспомнит об уважении к нерелигиозным чувствам! А, ведь, по-настоящему верующих в любой европейской стране меньшинство. Некоторые традиционно причисляют себя к той или иной конфессии, вспоминая об этом только по красным дням религиозного календаря. Но политика веротерпимости перерастает в политику нетерпимости к неверию — и граждан потихоньку выдавливают в религию, заставляют примкнуть к определенной клерикальной группировке. Когда высшее руководство страны демонстративно посещает религиозные сходки и шлет послания религиозным деятелям по поводу внутрицерковных событий — это сигнал законопослушным гражданам. Когда пресса обязана упоминать о религиозных деятелях с неизменным почтением и с положенными эпитетами, когда церковные дела освещаются наравне с делами государственными — свобода слова попадает в религиозные колодки. Казалось бы, кому кроме горстки верующих есть дело до выступлений римского папы, российского патриарха или далай-ламы? Нет, это преподносится как великое событие и откровение свыше! Политика срастается с религией — свобода совести приказала долго жить.

Понятно, что, за всей этой мишурой стоят интересы национальной или интернациональной буржуазии, а соперничество церквей отражает расстановку экономических сил. Но светский характер буржуазного

государства оказался невыгоден властям, ибо культурное единство приводит к консолидации оппозиционных сил, тогда как религиозный раскол — проверенное средство укрепления позиций господствующего класса.

Что в итоге? Санкционированный правящей верхушкой наплыв разномастных мигрантов, приносящих с собой несвойственные Европе традиции, другой образ жизни, другую ментальность. Европейцев почти не видно на улицах, пришельцы вытесняют их, силой заставляют принять новые нормы поведения, приобретающие статус закона сначала фактически. а потом и юридически. Либеральные буржуа, взывающие к веротерпимости и почитанию национальных традиций, почему-то забывают о традициях собственных стран — а уж тем более о защите едва проклюнувшихся личных прав и свобод. Осталась только свобода вырезать друг друга под прикрытием религиозной идеи, а то и безо всякой идеи вообще.

Было бы несправедливо упрекать мигрантов в захлестывающей Европу дикости нравов. Корни проблемы — в узости буржуазных представлений о рефлексии, усматривающих во всем исключительно утилитарные функции, конвертируемые в звонкую монету. Собственно духовной составляющей духовности европейский обыватель в своей массе так и не нашел. Например, на все лады повторяют штамп о карикатурах на пророка Мухаммеда, за которые так осерчали на свободолюбивых европейцев братья по исламу. А никаких карикатур вовсе и не было. Использование образа пророка — никоим образом не высмеивает и не унижает исламские ценности. Принятое в комиксах стилизованное изображение персонажей — отнюдь не осмеяние, а всего лишь стилевой прием, особенность жанра. «Карикатурное» изображение может быть очень добрым и сочувственным. И наоборот.

Суть искусства как раз в том, что оно может все превратить в образ. Лишите его этой свободы — и искусство умрет. Но государственные деятели ряда стран всеми средствами пытаются, например, ограничить прессу, спекулируя на чьих-то религиозных чувствах. Один шаг в этом направлении — и путь к тотальной цензуре открыт. Россия уже прошла по этому пути до конца. Европе, возможно, тоже предстоит идеологическая ночь — похлеще варфоломеевской.

* * *

Ритуал — один из обязательных атрибутов религии, сама суть которой в следовании жестко предписанным сверху («каноническим») образцам. Ритуальность не сводится к обрядности, она далеко не всегда откровенна, публична. Исторически, большинство церквей (от мелких сект до национальных и «мировых» религий) тяготеет к театральным эффектам, эксплуатируя возникающее у зрителей и участников такого представления чувство сплоченности — и иллюзорной безопасности перед лицом бесчисленных угроз «извне». Однако, вообще говоря, религия возможна и без обрядности. Например, конфуцианство не требует каких-либо особых культовых действий, для него достаточно повседневной «добродетели», усердия в исполнении тех или иных общественных обязанностей. Аналогично, некоторые ветви буддизма и суфизма призывают к неброскому повседневному «служению», не регламентируя ни выбора, ни способов деятельности.[6] Религиозность уходит «вглубь», она кроется не в поступках, а в мотивах людей, в регламентированном отношении к собственной жизни. Атеисту легко обличать показное раболепие — исправить искалеченную душу гораздо труднее. Отчасти, нелепые поповские фокусы играют роль обманного движения, отвлекают внимание критиков, заставляют из разменяться на мелочи — а тем временем человеческую духовность продолжают подтачивать изнутри.

Как религия может обойтись без обрядов, так и обрядность вовсе обязательно религиозна. Приверженность буржуазных этнографов к исключительно религиозной интерпретации — следствие религиозного воспитания (хотя бы на бессознательном уровне, через длинную цепь косвенных влияний). Не обходится и без церковной пропаганды: так, например, осуждая языческие обряды, попы подспудно протаскивают идею всеобщей религиозности: дескать, раз не верят в нашего бога — значит, верят в другого! О свободе от религии вообще — даже мысли нет. Но религиозным обряд становится лишь тогда, когда он не только формально предписан, но и воспринимается в контексте религии, как

[6] На самом деле, это первичная функция религии — закрепить общественное неравенство, внушить каждому, что его общественное положение — воля божества, что следует смириться с этим и честно выполнять свой долг…

именно религиозное действо. В других случаях это может быть все, что угодно, — от первобытного способа осмыслить мир до житейского юмора или модной тусовки. Например, церковь может с успехом играть роль местного клуба, куда ходят не за богом, а чтобы на людей посмотреть да себя показать. Для кого-то пение псалмов или пляски вокруг племенного тотема имеет мистическое значение; для большинства это всего лишь традиционное развлечение, способ вырваться из бытовой и производственной рутины. Пасха или рождество для европейцев — лишь дополнительные выходные дни; в России довели это до логического предела — и многие устраивают себе двухнедельные каникулы на январские и майские торжества.

Нерелигиозная обрядность может быть связана как с первичным, синкретичным отражением действительности, первобытным способом культурной организации, — так и со снятием былой религиозности, переосмыслением, превращением ритуала в обычай. Истоки ритуала — в подражании, действии по образцу. Полагаю, нет нужды объяснять, насколько важно это умение для человеческой культуры в целом. Это базовый механизм социализации — однако социализация, помимо прочего, есть также способ утверждения и сохранения экономического уклада и общественной организации; в классовом обществе она закрепляет отношения господства и подчинения, становится орудием эксплуатации. Так поведенческие стереотипы приобретают классовый характер и становятся ритуалом, элементом религии. Вне религии — это всего лишь обряд; чтобы превратить его в ритуал — надо его выхолостить, объявить самоценной его формальную оболочку, сделать основной упор на самом акте подражания, а не на его практической необходимости. Тогда любой успех необъясним — и легко приписать его игре потусторонних сил.

Стереотипные действия первобытного человека осмысленны, они решают вполне определенную жизненную задачу. Даже если способ решения совершенно фантастичен и не отвечает поставленной цели. И эти попытки не совсем бесполезны. Оставаясь во власти иллюзий, человек все же бросал вызов стихиям, осмеливался представить себе разумно устроенный мир — и эта мечта вела за собой, направляла поиск действительных решений. Как раз этого религия допустить не может, ей важно придушить мечты, внушить человеку мысль об

изначальной бесполезности любых усилий, а исход дела оставить на усмотрение божества (то есть, вполне земного начальства). Религия, собственно, и есть способ усмирения разума, и религиозный ритуал — звено духовных цепей.

Но время идет, жизнь не стоит на месте — как бы ни хотели власть имущие ее остановить. В конце концов ритуалы становятся общим местом, их практические корни совершенно засыхают — чему, кстати, способствует сама ритуальность, изначально бессодержательная. От такого ритуала религии никакой пользы, ибо здесь уже нет ни удач, ни провалов, — и нечего списывать на демонов или богов. Мистический дух ритуала окончательно выветривается — и вот вам образчик снятой религиозности, народный обычай, поветрие, прихоть моды. Вроде новогодних елок или тюльпанов на восьмое марта.

Всеобщность идеологических форм приводит к их проникновению в любые области материальной и духовной культуры. В частности, религиозность может принимать особые формы в разных областях. Например, в науке. Политическая ангажированность гуманитариев — достаточно очевидна. Но и естествознание не свободно от классовых влияний, как бы ни пытались естественники изобразить себя адептами чистой истины. Кстати, сам этот высоколобый снобизм, стремление возвыситься над обществом, провозгласить самих себя высшей ценностью — лишь подражание повадкам господствующего класса, и тут самое место встроиться религии, включая религиозный ритуал. Обожествленная наука смирно пасется под надзором попов и шаманов, она уже не угрожает устоям.

Примеров — сколько угодно. Взять хотя бы основу современной теоретической физики — вариационные принципы. В конце XIX века это было попыткой осмыслить происхождение законов динамики — к середине века двадцатого все выродилось в чистый ритуал. Никто не может сказать, зачем нужен функционал действия, и почему нужно во что бы то ни стало искать его минимум. Точно так же, стали голой догмой преобразования Лоренца, законы термодинамики, принципы квантовой теории поля… Вероятно, в конце концов физики с этим разберутся — пожелаем им свободной разумности. Но наука — это не только знания, это еще и способ их представления. Вот где буйство махровой ритуальности! Способы изложения результатов в науке —

невероятное уродство. Вместо того, чтобы честно рассказать, как мы до всего додумались или доизмерялись, надо навести формальную логику, далекую от логики исследования, выстроить батальоны неуместных ссылок, снабдить выводы десятками оговорок, как бы извиняясь перед всеми, кому в голову придет на это обидеться. А потом еще и пройти унизительные процедуры представления к публикации: получение соответствующих разрешений, поиск рекомендаций, умасливание идиотов-рецензентов, почтительное общение с редактором, а иной раз и финансовые потери… Немудрено, что в эпоху Интернета журналы помельче стремительно вырождаются, и кое-кому уже приходится побегать за авторами, предпочитающими публиковаться на свободных сайтах, пусть даже и с клеймом препринта.

Да что наука! Казалось бы, промышленное производство — основа основ, где практические соображения не перешибить никакой мистикой… Ан нет, и тут злорадствует религиозный ритуал. Живем-то мы в капиталистическом государстве, и кормить господ-капиталистов обязаны исправно. Миф о налогах как финансовом базисе социальных программ порождает особую религию. Миф о естественности ренты, миф о тождестве стоимости и цены, миф о благотворительности… Всех не перечислить. Но собственно ритуальная сторона прячется на заднем плане, за красивыми словечками, за математикой и статистикой. Однако есть и образчики чистой ритуальности. Первый пример — сертификация. Козе понятно, что смысла в этом нет никакого, что это завуалированная форма взятки. Но за взятки кого-то иногда сажают, а заставить заплатить за сертификат — дело святое. Иначе на рынок не попадешь, и никакой прибыли. Хочешь воровать — умей делиться.

Второй классический пример — реклама. Это уже чистой воды религия. Попы этой религии обещают за нас помолиться, если мы им хорошенько заплатим. А там — как бог пошлет. Ритуалов наплодили — воз и маленькая тележка. И масса красочных обрядов — рекламные акции. Нормального человека от всего этого тошнит. Но его заставляют терпеть, втягивают и завлекают. В результате массы начинают мыслить рекламными слоганами, разговаривать рекламными штампами, видеть в навязчивой пошлости высокое искусство и большую науку. Как религия подминает под себя культуру в целом, так и реклама объявляет себя двигателем экономики. Но двигает она только самое себя — а если

экономика где-то еще и развивается, то лишь несмотря на рекламу и вопреки ей.

* * *

Ссылки на конфессиональную принадлежность столь же пусты, как и указания на национальную принадлежность. Ни то, ни другое никоим образом не характеризует человека — ни в плане его способностей, ни со стороны личностных качеств, ни в качестве существа духовного и творческого. Такого рода ярлыки могут иметь вес лишь в классовом обществе, как форма допуска к тем или иным элементам культуры — как выражение этнической или религиозной сегрегации, неизменно сопутствующей классовому расслоению.

* * *

Разум — это всегда ответственность. За дела, за слова, за мысли и чувства. Свои или не свои (чужих для разума нет).

Неразумные существа могут пустить все на самотек, действовать по наитию, по слепому влечению, одинаково принимая любой исход. Им не надо лишний раз трудиться над осознанием своей роли в происходящих, и возможных последствий. Совесть их пуста, им не за что упрекнуть себя — ведь решения принимать не им.

В классовом обществе угнетенные слои иногда теряют мечты и надежды — и тогда в них пускает корни рабская психология, отказ от разумности, стремление оставаться говорящим орудием — не более. Это удобно. Оставаться человеком в нечеловеческих условиях — трудно и болезненно. Тупое существование притупляет боль; а что противно — так это дело привычки. В мерзости можно найти вкус.

Религия предлагает рабам наиболее концентрированный вариант рабской психологии, когда ответственность совершенно снимается, перекладывается не на других людей (а значит, кто-то сможет переложить свой груз и на тебя), а вообще выносится за рамки человеческого бытия, по ту сторону реальности. Человек не властен вершить судьбы мира — и не обязан отдавать себе отчет в своих поступках. Любое свинство священно и оправдано, ибо так предрешено свыше, написано на роду и направляется извне. От человека требуют

самой малости — признания безграничной власти божества и слепого повиновения. Кому, чему? Об этом расскажут посвященные, особо отмеченные богами и причастные к сверхъестественным тайнам. Боги всегда говорят устами людей. Но люди не отвечают за вложенные в их уста слова — и начальство представляется таким же орудием высшей силы, как и его рабы. Утешительно, не правда ли?

* * *

Мистическое сознание выносит причину мира за его пределы — то есть, по сути дела, уничтожает причинность как таковую, ибо у мира нет пределов, и тем более нет ничего запредельного. Примитивная рациональность не может принять мысли о субстанциональности мира (и любой его части), о возможности быть причиной самого себя. Поскольку же никакой иной рациональности буржуазная идеология не признает, можно смело замазать разницу между иррациональным и мистическим, объявить любое постижение чего-либо в обход рассудка, вне наезженной колеи причин и следствий, мистическим откровением, приобщением к божеству. Например, можно легко мистифицировать человеческие чувства — ибо даже в обычном зрительном восприятии мы постигаем внешний объект до того, как становимся способны рассуждать о нем. Отсюда два шага до отождествления образа с реальностью, признания независимого существования любых видений, внутренних голосов, памяти и предчувствий.

* * *

Различие европейского и русского христианства проявляется, в частности, в характере проповеди. Для европейца проповедь стала, по сути дела, ветвью общей риторики, разновидностью искусства. Она призвана лишь подкрепить авторитетом писания и предания некую исходную мысль, далеко не всегда проистекающую из благочестивых размышлений. Собственно религиозности в такой проповеди, в общем-то, и нет, одна оболочка. Точно так же любые другие церковные обряды в Европе живут и второй, светской жизнью — которая иногда совершенно вытесняет из массового сознания их религиозный смысл. Напротив, русская церковь в своей обрядности исходит из писания — и

задача проповедника лишь напомнить пастве избранные места, ни в коем случае не претендуя на собственное мнение. Поэтому в России проповедь не так распространена — она не обрела заметного места в церковной жизни, не получила официального статуса и догматического оформления, не стала элементом религиозной обрядности. Разумеется, жанр апологии всегда существовал в византийской литературной традиции, но его роль оставалась сугубо вспомогательной — вроде подготовительных материалов к очередному церковному курултаю. В последние годы, в связи с возвращение православию некоторых функций государственной религии, пропагандистская деятельность разного рода проповедников значительно активизировалась, приобрела размах общенациональной рекламной кампании. Однако эмансипация проповеди в православии пока вряд ли возможна, ибо это было бы заведомым отходом от традиционной «соборности», делегированием прерогатив высших эшелонов церкви ее низовым слоям. Установление такой церковной «демократии» означало бы выход за рамки религии, явное подчинение ее идеям иного происхождения.

* * *

Хороший священник подобен проститутке. Он должен довести клиента до религиозного оргазма, не впадая при этом в мистический экстаз. Его служебная обязанность — заманить в лоно церкви других; вера в этом деле только мешает.

Точно так же, успешный политик не может не быть циником. Собственные убеждения — песок в смазке политической машины, они не дают раскрутить ее на всю катушку. Убежденных выдавливают из политики; до поры до времени их могут использовать — чтобы убрать при малейшей строптивости.

Если артист, играющий Гамлета действительно вообразит себя принцем датским, это будет неубедительно: публика увидит на сцене лишь психически больного, а вовсе не шекспировского героя.

Сценка в одном из одесских магазинов:

— Скажите, кефир в этих пакетах вкусный?

— Мадам, я уже семь лет молочку не потребляю. Так что же Вы хотите, чтобы я Вам посоветовала?

* * *

Бог — *часть* человека. Религиозная вера — расщепление человека на абстракции. Рай не может быть без ада, бог без дьявола…

Только в материализме человек — целое.

* * *

Идеология упорядочивает отношение человека к миру так же как сам человек упорядочивает мир. Миротворчество невозможно без самосозидания. Разум вырабатывает разумные идеологические формы. Но пока нет других способов — религия тоже сгодится.

* * *

Корни религии не в отношении человека к природе — они всегда в отношениях между людьми. Не странно ли ожидать от первобытного человека страха перед природными явлениями, с которыми он постоянно имел дело в своей жизни? — здесь человек ничем не отличается от животного, и его реакция на игру стихий — это прежде всего действие, попытка избежать опасности — помимо и до всякого ее осознания. Только когда одни люди начинают направлять жизнь других людей — природные силы уподобляются общественным отношениям, приобретая подобие человеческой души.

* * *

Религия — разновидность наркотика. Точно так же она дает иллюзорное облегчение, уход от жизни в мир призраков. Однако возвращение неизбежно, и с каждым разом возвращаться все больней. Но и отключиться труднее — и дозы растут. В конце концов приходит безумие — полное погружение в тину иллюзий. Все, что мешает «кайфу», встает на пути к дурману, — устраняется огнем и мечом. Нет преступления, на которое не мог бы пойти наркоман, или верующий, во имя своего бесплотного мира. Толкачи от религии продают ее на каждом углу, в ассортименте: разные дозы, разные смеси... Для неопытных и опасающихся — поменьше, в сладкой оболочке, чтобы привлечь кажущейся безвредностью. А там, где церковь (наркомафия) забирает власть, людей «сажают на иглу» с раннего детства,

выстраивая систему тотального отравления народа. Случается, что и представители господствующих классов не избегают наркомании. Но особенно процветает она в трущобах — здесь и вербуются команды головорезов для охраны «божественного» порядка, погромов в инакомыслящих кварталах и войн во имя «небесного» промысла.

* * *

Безусловно, в религии есть определенное культурное содержание. Но признать церковную обрядность культурным явлением можно лишь абстрагируясь от ее идеологической основы. Пожалуйста, я готов считать, скажем, приходской клир чем-то вроде профессионального фольклорного коллектива, вроде ансамбля балалаечников. И даже оплатить (по тем же расценкам) его деятельность. Но возводить религию в ранг высшей истины и вершины человеческого духа — увольте, не соглашусь.

* * *

Поскольку религия принадлежит сфере идеологии, она синтетична, это принципиально иной уровень рефлексии по сравнению с научным знанием. Поэтому никакая наука о религии не может в достаточной мере ее охарактеризовать — даже в союзе с искусством и философией.

Нельзя просто перечислить компоненты религии — и полагать, что теперь мы знаем, что это такое. Такие перечисления всегда относятся к определенному классу религий — но не к религии как таковой. Религия разнообразна, она может принимать любые формы и менять их по мере надобности, приспосабливаясь к новым историческим условиям. И в этом ее сила. Без этого она не смогла бы так долго существовать.

В частности, религия умеет встраиваться в любые разновидности рефлексии, подчинять их себе изнутри. Например, когда ученый кичится своей беспристрастностью и независимостью, это верный признак того, что его воззрения приобретают характер догмы. Без критического отношения к своим истокам наука вырождается в догматическую систему; религиозное отношение к действительности находит в ней опору и питательную среду — а в определенных социальных условиях закрепляется в строении соответствующего

общественного института, превращаясь в особую религию — или служанку других религий.

* * *

Приверженность большинства церквей к масштабным массовым действам, захватывающим часть публичного пространства населенных пунктов и стран, сродни обыкновению многих животных метить территорию специфическими запахами или иными характерными следами. С этой же целью религии закрепляются в средствах массовой информации и осваивают киберпространство. Понятно, что такая экспансия не могла бы происходить без попустительства (или прямой поддержки) властей, которые в идеале должны были бы, наоборот, обеспечивать религиозную нейтральность культуры, ограничивая отправление культов специально обустроенными территориями. Даже домашняя религия — это уже насилие над личностью, поскольку в современном обществе воспитание детей во многом сосредоточено в семье. Культовым сооружениям следовало бы придать тот же статус, что и питейным заведениям, ночным клубам или игорным домам. По сути дела, это центры легализованной наркомании. Выход религиозных мероприятий за пределы таких изолированных зон есть нарушение гражданских прав и свобод, грубое вмешательство в частную жизнь большинства населения.

* * *

В начале XX века атеисты пытались «разоблачить» религиозные «чудеса», произвести впечатление на неокрепшие умы демонстрацией дешевых фокусов, на которые идут попы в ритуальных целях. А попы ничего и не скрывают — они совершенно свободно используют вполне материальные действия в качестве «заместителей» подлинного чуда, и ничего предосудительного ни они, ни паства в этом не находят.

Действительно, какое отношение все это имеет к божеству и его таинствам? С точки зрения религии, ничто и никто в этом мире не может претендовать на истинную духовность — ибо она присуща только богу, или, по крайней мере, некоторым его потусторонним компаньонам — но уж никак не материальным вещам. Вещи лишь

представляют дух, «обозначают» его понятным для людей образом — ибо прямое постижение мистической истины человеку недоступно. Поэтому, когда в Иерусалиме по церковному расписанию (и даже по двум разным расписаниям — отдельно для православных и католиков) нисходит священный огонь, какая разница, кто и когда подсоединил баллончик с газом и открыл крантик? Важно лишь как души верующих через грубую плоть сообщаются с их небесным начальником. Когда в церквях рыдают иконы — механика этого совершенно безразлична для религиозного сознания, способного усмотреть мистическую подоплеку даже в отправлении малой нужды. Точно так же мантры в буддизме не есть нечто божественное сами по себе — это лишь зацепки для земных чувств, через которые жаждущий «просветления» приходит к особым состояниям, невыразимым никакой совокупностью вещей.

Предполагая наивную веру в рукотворные «чудеса», атеистическая критика недооценивает противника. Точно так же, ссылаясь на зверства инквизиции, на безнравственность духовенства всех уровней или беззастенчивые финансовые махинации, атеист уходит от главного, от историчности всякой религии и неизбежности ее конца. Что бы ни вытворяли всевозможные «святые», это в лоне церкви и во имя ее. Но как только мы показываем возможность обойтись без любых религий вообще (а значит, и без атеизма) — репутация попа или шамана безнадежно испорчена. Если я с успехом добываю «хлеб насущный» без всяких молитв — на кой мне «отче наш»? Если я научился делать погоду — буду ли я молиться о дожде? Чтобы избавиться от богов, надо стать не менее могущественным — и превзойти их.

* * *

Религия как уровень синтетической рефлексии родственна праву, они постоянно переплетаются и поддерживают друг друга.

У религии с правом много общего. Догматическая нормативность, опора на ритуал, особая обрядность… Однако право определяет жизнь внешним образом, человек полагается в нем как объект правовых предписаний. Религия же претендует на регламентацию устройства субъекта. Право указывает, как следует поступать. Религия — диктует образ мысли. Разумеется, человек может спрятаться внутрь себя, сохранить что-то от нравственной свободы, на публике демонстрируя

приверженность религиозно-правовым установлениям, правоверность и законопослушность. Но общество так организовано, что людям сложно этого пожелать. Предрассудки вбиты с детства, промывание мозгов — везде и всегда. Переход к принципиально иным способам регуляции жизни и деятельности связан с устранением самой основы права и религии — классовой общественно-экономической организации.

* * *

Любая деятельность может, при определенных общественных условиях, превратиться в ритуал. Например, требования элементарной гигиены: часто мыть руки и периодически мыться целиком, не ходить в помещении в уличной обуви, прятать длинные волосы в общественных местах… Сюда же примыкает и практика обрезания, как средство интимной гигиены в условиях жаркого климата и кочевой жизни. Практическая польза может сойти на нет с появлением новых, более действенных процедур. Остается оболочка действия, механическое повторение — никто не знает зачем. Такие «замороженные» схемы деятельности могут существовать веками, передаваться из поколения в поколение и даже стать этническим маркером, опорой национального самосознания. Для религии это просто находка — ибо непонятное и бессмысленное легко объявить волей богов, или хотя бы отбившимися от человеческого разума идеями.

Ритуалы, рудименты действий, иногда относительно безвредны — как, например, обычные формулы приветствия. В некоторых случаях они меняют культурный тон: например, многие формулы вежливости (извиниться, поблагодарить, выразить одобрение) важны в качестве инструментов социализации — они придают общению положительную эмоциональную окраску. Однако есть ритуалы безусловно вредные. Так, омовение как религиозный ритуал давно перешло в собственную противоположность: кишащие паломниками водоемы — обычный рассадник заразы.

* * *

Важное отличие религии от стихийно-первобытных верований — всеобъемлющий эгоцентризм. Если для первобытного человека (или

первобытных пластов современного сознания) природа представляется сообществом многих «я», которые вступают в общение в соответствии с принятыми в этом сообществе правилами, — религиозное сознание воспринимает мир (как материальный, так и духовный) исключительно в качестве средства решения личных проблем, и потусторонние силы (в том числе боги) становятся своего рода автоматами для исполнения желаний: если правильно дергать рычаги и нажимать на кнопки, на выходе можно получить нечто вполне утилитарное. Разумеется, эта машинерия обладает определенной стохастичностью, и успешность манипуляций подчинена «встроенной» статистике. Предполагается, что следование догматам религии (точное соблюдение ритуалов) повышает полезность божественного аппарата.

Первобытный анимизм допускает вмешательство «духов» в жизнь человека вне зависимости от человеческих потребностей и интересов, по собственной инициативе этих существ, подобно тому, как другие люди могут вступать с нами в общение по стечению обстоятельств. Напротив, религия представляет каждое воздействие извне как ответ на те или иные действия человека — либо поощрение праведной жизни, либо воздаяние за грехи. Любой практический вопрос переводится в этическую плоскость, становится не просто осознанным действием, а поведенческим актом, волеизъявлением. Так проявляется историческая необходимость и первоначальная культурная роль религии — переход от сознания к самосознанию (без чего невозможен разум). Позже, с появлением более развитых форм самосознания религия теряет эту культурную функцию и, наоборот, начинает притормаживать движения духа, превращая самосознание в самоизоляцию, отказ от общения с живыми людьми ради общества собственных фантазий. Люди уже не партнеры или собеседники — они подобны вещам, их дело — служить и обслуживать. Это и называется эгоцентризмом. Другая сторона того же самого — эгоизм, выведение мотивов собственной деятельности из себя самого.

Внутреннее противоречие религиозного сознания связано с тем, что, с одной стороны, утверждается уникальность каждой личности и ее общекультурная значимость (духовность) — а с другой, духовность каждого противопоставлена духовности общества в целом; поскольку же человек не может существовать (и действовать) вне общества, он

воспринимает свою общественную природу как внешнее принуждение, как насилие. В частности, насилием над личностью становится и сама религия.

* * *

Внешняя атрибутика религии не имеет собственного содержания, она служит приобщению к чему-то иному. Для внешнего наблюдателя религиозная обрядность совершенно бессмысленна, уродлива и глупа. Человек религиозный (каковых в европейской цивилизации почти не осталось) воспринимает это иначе — подобно тому, как влюбленные способны усмотреть знаки и предвестие близости (или наоборот, дурные предзнаменования) в самых незначительных мелочах.

Например, религиозные книги — это вовсе не источник знаний, а средство приобщения к божеству. Что конкретно там написано — к сути религии не имеет ни малейшего отношения. Буквы и слова с тем же успехом можно заменить абстрактными знаками или орнаментом; так текст превращается с мантру. Аналогично, звучание речи в религии оттесняет ее содержание, и слова молитв лишь формально принадлежат тому или иному языку — а кое-где совершенно от языка отрываются, превращаясь в абстрактный звук (например, такова церковная латынь в католичестве).

Православие в гораздо больше степени сохранило мистический дух писания и предания, нежели европейское христианство, сохранившее традиционно римскую практичность — в противовес столь же древней рефлективности греческой культуры. Европейскому миссионеру важно *поведать* нечто (принести благую весть); православие *приобщает* к вере, для него мистическое чувство куда важнее благочестивой мысли.

Поэтому европейские церковные книги практически не отличаются от обычных книг; напротив, русская церковь до сих пор предпочитает особое типографское оформление, начиная с витиеватых «церковных» гарнитур и кончая нестандартными форматами страниц. Здесь важно задержать внимание читателя, максимально осложнить процесс чтения, затормозить его, устранить привычное для грамотея «проглатывание» страниц. Текст приходится разбирать буква за буквой — это вполне подобно восточным техникам медитации.

Надо заметить, что искусство в этом вполне подобно религии: оно требует отстранения от обыденных форм восприятия, «вчувствования» в объект. Однако искусство идет дальше: оно требует сотворчества, проявление собственной духовности, а не следования чужой. Это как если бы от верующих требовали самостоятельного создания новой религии вокруг любой «реликвии»; отчасти такое обожествление вещей стихийно происходит на каждом шагу — но религия пытается держать его под контролем, не допуская чрезмерных творческих вольностей.

Самодостаточность формы в искусстве — стимул к развитию, а не замыкание в форме как таковой. Здесь другая направленность: не ради сохранения «первозданной чистоты» — а ради освобождения от старого содержания и поиска новых возможностей. Поэтому искусство может широко использовать религиозные сюжеты, не скатываясь в пошлую апологетику, преобразуя их в нечто далекое от религии, оживляя их своим дыханием.

Наука пытается возвратить абстрактным формам твердость и однозначность, воспроизводя на высшем уровне почти «религиозное» отношение к ним. Чрезмерная формализация способна любую идею превратить в догму, и вместо следования природе ученый увлекается математическими построениями, играет символами — принося истину в жертву «строгости» и «научности». Современные религии легко перенимают это поверхностное наукообразие, используют его в борьбе с подлинной наукой, для которой формальная свобода неотделима от творческой ответственности, а игра абстракциями — лишь орудие, путь к практически осмысленному результату, а не самоцель.

* * *

Людям дают имена богов. Но не всяких. И не везде. Какие-то боги были не прочь оказать людям покровительство; другие подчеркивали свою противоположность простым смертным. Наконец, сказываются и культурные различия в отношении к божественному вообще, разный смысл сакральности у разных народов.

У древних славян, вероятно, имена каких-то богов годились и для людей. Долгая диктатура православия выветрила эту традицию — и лишь теперь языческие имена заново входя в обращение — в основном по политическим соображениям. «Божественные» имена греческого

происхождения русские заимствовали с запада, как поздний отголосок ренессансной культуры. Пожалуй, чаще всего встречается имя *Диана*; из ее греческих гомологов — иногда *Селена*, но не *Артемида* (что в обычае у греков и турок), и уж никак не Геката. Тут явно играет модернизированная мифология: символика девственной чистоты — и уподобление Луне, в смысле холодности и красоты. Очень редкое имя *Гера* (но почему-то не латинское *Юнона*) связано с символикой брака и домашнего очага. Имя *Венера* — в основном у российских тюрков, как синоним традиционному *Зухра*. Но напрасно искать где-либо *Афину*, римскую *Юстицию* или греческую *Фемиду*.

Античные имена мужчин у русских ограничиваются *Аполлоном* — а в Европе не редкость и *Гераклы*. Однако в целом мужские божества неохотно делятся именами с людьми. Тем более удивительно, что имя *Иисус* получило в Европе (и в европеизированной Америке) широкое распространение; для православных это звучало бы кощунством, а у мусульман *Иса* — лишь один из пророков, и его имя вполне годится для ширпотреба… Аналогично у христиан — имена из божьей свиты, вроде *Георгия* (Юрия). Но я бы очень удивился, встретив на улице *Яхве*, *Аллаха* или *Саваофа*.

Тут работает еще одна старая традиция восточного происхождения: можно посвящать человека богу — но не делать богом. Например, в многие индийские имена образованы от имен богов индуистского пантеона — однако напрямую имена заимствуются редко (кроме, быть может, *Лакшми* — тамошний аналог Дианы). Аналогично у европейцев: *Марс* — нельзя, а *Марсий* (посвященный Марсу, или просто воинственный) или *Марсель* (*Марсела*) — вполне возможно; точно так же, не *Дионис* — а *Дионисий* (хотя бы потом и сокращенный до того же Диониса). Аналогично: *Дмитрий* (от *Деметры*), *Таисия* (от *Исиды*). Ну и, конечно же, популярнейшие производные от Яхве — *Иван* (Иоанн, Жан, Джон *etc*.) и *Матвей*.

Разумеется, в современной (далекой от религиозности) культуре происхождение имен — тема из области светских развлечений. Никто уже не придает особого значения их «сокровенному» смыслу. Пока еще остаются какие-то корни — можно было бы делать выводы об истории внутреннего мира людей. Но профессиональные лингвисты сплошь увлечены подгонкой всего и вся под индоевропейскую абстракцию,

пока они не наигрались в религиозные игры — им не до серьезной науки. А потом, глядишь, уйдет память традиций — и раскапывать будет уже негде.

* * *

Религия, вера и религиозные представления — не одно и то же. Иногда они даже вступают в серьезные противоречия. Но если речь идет о знании, то форма его бытования не столь важна, главное — верность следования природе (и отражение, и творчество). Известно, что наукообразие — это еще не наука; серьезной науке излишняя формалистика только вредит. Точно так же, искусство противоположно искусственности, а философия — враг суемудрия. Если же не забывать о материи — даже религия на что-нибудь сгодится.

Пресловутый христианский догмат о тройственности ипостасей — не случайность, не произвол и не условность (как бы он ни насаждался в практике церквей). В своей сути — это (извращенное) выражение универсальной связи вещей, материального единства мира. Кажущиеся различия частей (и частностей) снимаются в отношении к целому. Мир предстает и источником всякого бытия («отец»), и продуктом («сын»), и субъектом деятельности («дух»). Иначе и быть не может, поскольку нет ничего кроме этого единого и единственного мира — который просто обозвали богом, за неимением подходящих слов и как дань восхищения собственной способности такое постичь.

Конечно, в классовом обществе индивидуальное сознание с трудом воспринимает идею всеобщего единства. Люди объективно разделены на враждующие группировки, каждый живет в пределах дозволенного. Потому и в сознании людей мир предстает клубком неразрешимых противоречий, абсолютной противопоставленностью одного другому. Приведение к единству в этих условиях оказывается лишь формой принуждения, духовной диктатурой, религией. В этом смысле борьба раннего христианства с ересями вполне подобна прогрессивной роли диктатуры пролетариата на пути от капитализма к новой общественной формации. И точно так же, есть риск вырождения идеи в догму, отказа от будущего ради сиюминутной корысти. Переходные формы по сути своей не могут быть последовательны, они неизбежно эклектичны и

предполагают широкое поле возможностей; какая линия возобладает в итоге — вопрос объективной направленности развития.

* * *

Есть ли бог — глупейший вопрос. Нормальные люди такими «проблемами» не задаются, у них есть дела поважней. А если кто-то от избытка досуга решил-таки озадачиться, пусть сначала объяснит, что для него бог, и как он понимает существование и несуществование. Тогда можно осмысленно решать, существует ли для него бог в его понимании. Другие, разумеется, вправе иметь свои представления, и для них тот же вопрос означает нечто иное.

В любом случае, это не более чем досужее любопытство, дело сугубо личное. Ни один практический вопрос на это не завязан, и народ может спокойно работать, не заморачиваясь подобной схоластикой.

Когда же мне пытаются навязать бога, вписать меня в религиозные ритуалы, в церковные календари, в идиотскую мораль духовных калек, в официальные рамки почтительности, — сразу возникает внутренний протест. По какому праву поповщина лезет со своими уставами в мой монастырь? Почему меня должны заботить чужие заблуждения? Чего ради я буду трепетать при слове «бог»? Мало что вы там для себе придумали! Да мне все равно, как это называть. Что бог, что ливерная колбаса. Объясните только, на кой черт вашему богу соваться в мои дела? Мне до него дела нет — и пусть он ко мне не лезет. А то не бог, а спамер какой-то. Кого бьют ногами, если поймают.

Щедро одаривая церковников, государство делает это из моего кармана. Это типичное классовое насилие. Лично я не дал бы на всю эту мерзость ни копейки. Даже если эта копейка мне самому была не особо нужна. Но приходят вооруженные головорезы, грабят народ, и отдают народное достояние тем, кто оправдывает общественный строй, основанный на грабеже и насилии, даже господ формально превращая в рабов. В гробу я видал такого бога!

* * *

Вера, нуждающаяся в символе веры, — чисто символическая.

* * *

То, что одурманенное религией сознание объявляет божественным вмешательством, чудом, — здравомыслящие люди воспринимают как обыкновенную случайность. Выходит, что, по сути дела, верующие поклоняются случаю.

* * *

Бог вне разума. Поэтому не может быть «идеи бога». Но любую идею можно объявить богом.

* * *

Истинная религия не может противоречить разуму, поскольку она устраняет разум как таковой.

* * *

Те, кто не знает, что такое любовь, и у кого нет совести, — в своих корыстных интересах изобретают богов и навязывают их остальным…

Любовь, совесть и альтруизм — несовместимы с религиозностью. Они требуют, чтобы человек принимал ответственность на себя, а не перекладывал ее на воображаемую «высшую силу» (то есть, по сути, на другого, на хозяина). Религия есть рабство — а человек стремится к свободе, в этом его разумность. Как только мы допускаем (хотя бы теоретически) неизбежность следования у кого-то или чего-то на поводу, мы не достойны звания разумного существа, мы становимся полуодомашненной скотиной.

* * *

В религиозных текстах (особенно библейских) на каждом шагу угрозы расправы с теми, кто не угоден богу (или богам). Например, пророк Исайя выдал пенку:

> Заносчивы дочери Сиона, они ходят подняв голову и бросая чарующие взоры, ступают мелкими шажками, позвякивая браслетами на ногах. За это Владыка обреет головы дочерей Сиона, Господь острижет им челки! В тот день Владыка снимет с

> них все украшения: ножные браслеты, солнышки и полумесяцы, подвески, браслеты для рук, покрывала, головные повязки, цепочки с лодыжек, пояски, пузырьки с благовониями, амулеты, перстни и кольца для носа, дорогие одежды, накидки, плащи, сумочки, зеркальца, сорочки, тюрбаны и шали. И будет им вместо благовоний — смрад, вместо пояса — веревка, не прическа, а выбритая голова, не платье, а дерюга на бедра. Вместо красоты — позор!

Каково? Похотливый козел, с упоением разглядывающий нарядных девиц (детальность описания говорит за себя!) боится собственной похоти, и чтобы не поддаться ей, готов надругаться над красотой, предать ее позору — и все это именем бога… Но, пардон, кто дал право вашему богу читать нам морали? Да будь она последняя шлюха — какое его собачье дело? Тем более странно, когда «божественный» смрад хотят навязать народу силой. Почему, собственно, мы должны жить в дерьме? — почему не имеем права украшать жизнь, как умеем? Да кто он такой, этот ваш бог? И кто вы такие, чтобы говорить от его лица? Предъявите хоть одно разумное основание — помимо того, что сила пока на вашей стороне.

Вы говорите, что бог сотворил человека. Ну, меня он точно не творил — а относительно вас вопрос открытый. Вы что, при этом присутствовали? Однозначно нет. Судить вы можете только с чужих слов — и не факт, что вам не соврали. Бумага, известно, все терпит. Тем более глупо объявлять вашего бога творцом мира в целом. Кто это видел? Есть у вас минимальнейшие аргументы в пользу столь нелепой гипотезы? Да пусть попробует сотворить хотя бы пылинку — а мы посмотрим и посмеемся…

Так оставьте в покое наших женщин, пусть они будут красивы и гордятся своей красотой. А себе — сколько угодно обривайте голову, ходите в дерюге, препоясанной веревкой… Мы не чета вашему богу, мы не будем вас за это преследовать. Только, пожалуйста, держитесь подальше от людей, если вы благовониям предпочитаете смрад.

* * *

Чем глубже вера, тем безразличнее верующий к миру. Ему уже все равно, что происходит вокруг, и происходит ли вообще. Никакие вещи

или действа не способно ни на йоту повлиять на сознание верующего.

Легенды об обращении — вздор. Если для того, чтобы уверовать, нужна демонстрация силы божества (чудо), веры уже не получится — это бизнес, элементарный расчет. Бога заставляют доказывать свою божественность — а всякое доказательство обращено к мышлению, не к вере. Вот, дескать, пришел тут один — представился богом… А как вы докажете, что вы бог? Предъявите ваши верительные грамоты!

Точно так же, сказки о мучениках и святых сочиняют, чтобы подкрепить заведомо шаткую веру, неспособную изыскать силу в самой себе.

* * *

Религиозная сказка о всеблагости бога — сродни сказке о мудрых и добродетельных родителях, наставляющих неразумное чадо. Классовые корни одинаковы.

Но мы-то на каждом шагу видим, как родители уродуют своих детей: от элементарного дурного примера — до зверского насилия. Буржуазное общество вырабатывает законы, ограничивающие власть родителей, — поскольку капитализм опирается не на семейную (или сословную), а на классовую иерархию, на свободу индивидуальной эксплуатации.

Поскольку попы (включая проповедников официальной идеологии) стоят на страже интересов господствующего класса, они предпочитают говорить о благости начальства, так что всем остальным остается лишь возлюбить и возблагодарить.

А с точки зрения элементарной логики, веруя в благость бога человек неизбежно впадает в грех гордыни: почему, собственно, мы полагаем, что богу предписано действовать во благо каких-то там людишек? У него, быть может, свои собственные интересы, к нашим отношения не имеющие. А мы лезем к нему со своими дурацкими просьбами — как маленькие дети, хныкаем и тянем родителя за рукав.

Да и родитель ли это? Может быть, отчим, или злая мачеха? Очень похоже — судя по тому, как выглядит на практике божественный порядок…

Так, может быть, следует отказаться от веры в собственную исключительность и честно признать, что религия дана людям во зло?

И, например, миф о распятии Христа воспринимать не как надежду на искупление, а как назидание: и вам так же будет!

* * *

Всякая религия предполагает более или менее развитую иерархию обрядов, которая накладывается на обыденную жизнь людей и вторгается в их производственную деятельность. Даже там, где церковь формально отделена от государства, остаются пережитки верований, официальные и неофициальные даты религиозного происхождения.

Есть религии, которые чуть ли не целиком сводятся к обрядности, где боги только тем и занимаются, что разруливают человеческие дела и взаимоотношения. Таковы религии семитов (иудаизм, ислам), с их извечной страстью к догматической регламентации всех сторон жизни. Нечто подобное мы видим и в конфуцианстве. Напротив, христианство (и в первую голову католицизм) оставляет бытовые вопросы на суд людей, при условии признания примата религии, ее руководящей идеи, символа веры. В христианстве обрядность становится абстрактной, отделяется от бытовых дел и замыкается в собственно «духовной» сфере. Богу богово — кесарю кесарево. Религия сводится к формулам медитации, к технологии (само)гипноза. В этом сходство христианства с некоторыми индийскими религиями (йога, тантра) и с буддизмом.

Как и в светской жизни, строгость религиозного регламента всегда сочетается с необязательностью его соблюдения, и наоборот, вопросы принципа приобретают характер догмы. Там, где бог превращен в абсолют, во всеобщий принцип, ему требуется наместник на земле, пресекающий вольности интерпретации. Деспот небесный начисто лишен какой-либо самостоятельности, его воля подчинена воле земного деспота.

Но деспотизм заключается и в том, что деспот в любой момент может изменить правила игры, дать рабам такой закон, который ему выгоден в данный момент. Критерий истинной веры: правоверный не имеет права сомневаться в предписаниях свыше, его дело — слепо повиноваться и не задавать вопросов. Не рабам божьим указывать богу, что и как тому следует заповедать. Бог (иншалла!) и свинину может сделать кошерной, и халяльной водкой это дело сопроводить. Кто мы такие, чтобы сомневаться в его могуществе?

Встает вопрос: а не обойтись ли нам тогда без богов. Но это означало бы принять всю полноту ответственности за происходящее в этом (отнюдь не потустороннем) мире — а к такому грузу человек еще не готов…

* * *

Даже если я вдруг поверю в бога — я вовсе не обязан верить в тех, кто вещает от его имени. Если бог способен хоть на что-то, пусть он сам за себя и говорит. Как мы с ним будем выстраивать отношения — касается только нас. А если у меня нет возможности напрямую общаться с богом (хотя бы и косвенно, через следы его труда) — ничем такой бог не отличается от земного политика, и одна ему дорога — в отхожее место.

Пока в мире нет ничего, что требовало бы божьего вмешательства. Пророки и попы говорят от своего имени; я могу принять к сведению их мнение — но верить им на слово смысла нет. Ни один законник не представляет закон; ни один чиновник не представляет державу. Точно так же поп служит не богу, а своему кошельку. Религии подобны воровским артелям: сподручнее разбойничать сообща.

* * *

Истинно верующий, как минимум, признает существование бога — поэтому он не может, не покривив душой, скатиться в субъективный идеализм. Но если существует бог, может ли он оказывать влияние на наш мир? Если нет — то что в нем божественного? Если да — это вполне материальная сила, от прочих вещей ничем не отличающаяся. Остается переименовать бога в материю — и религия невозможна.

* * *

Церковь — это бизнес, и, как бы ни ругали попы светскую власть, они скорее согласились бы признать, что бога нет, чем отказались от своих прерогатив. Им нужна стабильность — и потому они объективно оказываются на стороне сколь угодно атеистического государства, лишь бы оно не посягало напрямую на имеющиеся источники дохода. А в СССР начальство всегда хранило религиозные традиции; усилия

антирелигиозной пропаганды сводили на нет живым примером.

После контрреволюционного переворота попам отдали экономику на разграбление. Возможно, кто-то из них хотел бы объявить «святую Русь» православной (или мусульманской); но какое это имеет значение на фоне баснословных барышей с государственным обеспечением!

* * *

Происхождение тех или иных религиозных предписаний — интересная научная проблема. Обряды и запреты не случайны, это примитивный способ осознания практически важных вещей. Поэтому они, безусловно, должны изучаться в ряду других этнографических или исторических источников. Однако серьезных исследований в этом направлении почти нет — все как один уперлись в религиозный смысл ритуалов, по воле церковного (классового) начальства забывая о науке.

Зачем нужны ритуальные омовения — в общих чертах ясно. Но почему одним можно есть свинину, другим нет? Для чего дикари наносят себе ритуальные телесные повреждения, и почему именно такие? Каково происхождение орнаментов? Иногда на такие вопросы отвечают богословы. А историки застенчиво молчат.

* * *

С древнейших времен — оракулы, пророки и прорицатели, гадание, молитвы… Но любые попытки переложить ответственность на судьбу — лишь первобытная форма рефлексии по поводу собственных намерений и готовности самому стать судьбой.

* * *

Безусловно, религия влияет на предпочтения людей — поскольку те воспитываются в религиозной среде. Усвоенное в раннем детстве становится частью человека, и он может совершенно искренне заявить, что свободен в своем выборе, и никто не заставляет его поступать в соответствии с традицией. Например, в странах, где (формально или неформально) присутствуют элементы мусульманской (или иудейской) культуры, многие не едят свинины не из религиозных соображений, а просто потому, что им это не вкусно. Люди могут обнаружить привкус

там, где свинины как таковой вовсе нет, где ее производные (в сильно переработанном виде) используются лишь в качестве наполнителей и добавок. Это вполне подобно тому, как неприятно чувствуется примесь пальмового масла, кокоса, лука или арахиса. Кому что нравится.

Закономерный вопрос: что первично? Вероятнее всего, пищевые (и не только пищевые) запреты закрепляют исторически сложившиеся культурные особенности, готовые системы предпочтений; как элемент религии, такая фиксация противопоставляет одну культуру другой, дает формальный критерий различения «наших» и «не наших» (еще один «шибболет»). Объективные факторы становятся орудиями классового господства.

* * *

Церковь не имеет ни малейшего права заниматься вопросами веры. По сути, это сугубо светское общественное объединение, призванное представлять некоторую часть верующих перед лицом общества в целом (которое в классовом обществе отождествляется с государством как органом классового господства). Религиозные люди могут быть искренне убеждены в необходимости каких-то обрядов и ритуалов для поддержания их «связи с богом» (то есть, чтобы убедить себя в своей вере). Например, приверженцы фаллического культа поклоняются трехметровому изваянию полового члена, и для них оно безусловно необходимо, — однако воздвижение такого монумента где-нибудь на городской площади оскорбило бы чувства всех остальных — тех, кто видит в этом непристойность, или просто китч. Точно так же, христианам нужны всяческие часовни, церквушки или соборы; магометанину подавай минареты с муэдзинами; шаманист не может без яранги с тотемами… Одна компания ничем не хуже (и не лучше) другой, и урегулировать их взаимодействие так, чтобы никто никому не мешал, — дело непростое. На практике, чаще всего, законодательно постулируют одну или несколько «официальных» церквей, а остальные фактически выводят из правового поля, предоставляя разбираться с ними культовым «авторитетам» (церковникам в законе). Понятно, что речь идет лишь об имущественных вопросах: свобода отправления культа полностью сводится к праву распоряжения местами проведения

церемоний и соответствующим инвентарем.[7] «Светское» государство должно, по идее, совершенно исключить публичную обрядность — поскольку любой публичный обряд, во-первых, попирает права людей нерелигиозных, а во-вторых, пропагандирует религию среди еще не определившихся. Тем более недопустимо привлекать к участию в религиозных действах детей.

Церковь никак не может говорить от лица «бога». С точки зрения веры, объявить свое разумение единственно истинным — это просто кощунство, ибо человек тем самым ставит себя на одну доску с богом, почитает богом себя. Когда попы третируют иноверцев как язычников, раскольников или сектантов, они заведомо выводят себя за рамки «духовности», в сферу политико-экономических отношений. Церковь утверждает свою религию исключительно путем принятия новых членов конфессии или выведения прихожан за ее рамки (для чего у попов имеются особые обряды). Для удостоверения принадлежности к конфессии служат те или иные внешние знаки (татуировки, нательные кресты, стрижка и одежда, обрезание) — аналогично членским билетам «светских» сообществ. Точно также, есть своего рода поведенческие метки: особый жаргон, ритуальные жесты, регулярное возобновление членства путем уплаты членских взносов или участия в культовых мероприятиях.

Разумно устроенное общество не нуждается в специализированных органах для «причащения» личности к общественному целому. Каждый имеет право на долю общественного богатства, и определяется это не формальной принадлежностью к соответствующей «категории», и не какими-то статистическими нормами, не абстрактными предписаниями, а опять-таки, разумной необходимостью. Никакие церкви и партии в таком обществе невозможны. Если кому-то хочется верить в богов или фаллосы — это их личное дело, и другие об этом знать не обязаны. Только зачем оно, если жить полной, творческой жизнью дозволено всегда и всем?

[7] Во многих городах Франции одно и то же культовое сооружение совместно используется разными конфессиями, и при этом выступает как культурный объект (музей, концертный зал, художественная галерея и т. д.). На дверях церквей можно видеть расписание, согласно которому заинтересованные лица делят права владения.

* * *

Сознательная деятельность возникает по мере того, как телесное движение насыщается рефлексией. Нам важно не действие само по себе, нам нужно понять, как и для чего. Конечно, на первых порах разобраться бывает нелегко. Приходится принимать как есть (или как кажется), чтобы потом, при случае, обдумать пристальнее. Главное уяснить: чтобы чего-то добиться, требуется над этим поработать. Вот мы и трудимся в поте лица, и соображаем по ходу дела. Пока опыта маловато, соединяем одно с другим, как получится, и понемногу копим успешные комбинации. Пока эта успешность не нами организована, пока это не сознательное намерение и не продукт труда, возможность и дальше полагаться на выхваченные из потока событий совпадения остается предметом веры.

Но время идет, и люди обзавелись особыми инструментами и орудиями, специально заточенными под строительство самосознания. На место синкретической рефлексии, впаянной в деятельность, приходит рефлексия как творчество, сознательное освоение самих себя. Искусство, наука, философия… Производство идей стало своего рода индустрией, самостоятельной областью культуры, основным способом расширенного воспроизводства (и развития) человеческой духовности, разума. Поначалу такая, аналитическая рефлексия еще опирается на случайные находки первобытного синкретизма; новые открытия ведут к стремительному росту собственного методологического багажа и практически полностью вытесняют веру из духовного оборота. Даже принимая что-либо без достаточного основания, мы имеем в виду его возможность, осознаем ненадежность и временность предварительных оценок — и намечаем пути к чему-то более разумному. Это всего лишь доверие, но никак не вера.

Так история вымывает почву из-под любой религии — ей просто не от чего расти. Художнику и ученому религия ни к чему. Когда человек творит — он выше любых богов, он сам себе судья. Тем более неуместна религия в практической работе, в которой идеи становятся вещами. Мы просто действуем в соответствии с порядком вещей, и никакие попы нам не указ. Если горстка бандитов хочет лишить нас этой свободы — мы можем уступить силе и облечь свои деяния в навязанные кем-то формы. Но приходит миг вдохновения — и мы

сбрасываем с души благочестивый хлам, и свобода возвращается к нам в блистающей наготе.

* * *

> Пилат сказал ему: итак ты царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа моего.
>
> Пилат сказал ему: что есть истина? И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в нем.
>
> *Евангелие от Иоанна*

Вопрос Пилата — наивысшее духовное достижение Нового завета. Все остальное — тень, предисловие, тоска по главному.

Что есть истина?

С одной стороны, мы соглашаемся, что истина *есть* — но требуем не слепой веры, а пути к истине, поиска и утверждения истины. Поэтому нам надлежит бесконечно уважать чужие искания — как бы далеки они ни были от наших нужд и ожиданий. Истина многообразна, не бывает одной на всех. А если кто-то честно заблуждается — нет на нем вины.

С другой стороны: *что* есть истина? Далеко не все, что по жизни человеку нужно. И, быть может, далеко не главное. Прежде всего, человеку нужна собственно жизнь — человеческая, творческая, — без страха и отчаяния, — когда не надо стучаться в бороду очередному боженьке, потому что вокруг есть те, кто рад и готов помочь.

Так человек сам становится истиной — для других и для себя.

* * *

Когда человек не умеет справиться с разрушительными силами природы и ощущает свое бессилие перед дикостью соплеменников, он пытается сохранить человеческое достоинство хотя бы в собственных глазах, мечтая об избавлении и как бы переселяясь в свободу в этих фантазиях. Но и мечты наши — отражение образа жизни. В обществе, расколом на классы, где есть «верхи» и «низы», есть две основных формы иллюзорного освобождения: религия и юмор.

В первом случае — надежда на сильных мира сего, которые, как вещают с амвона попы, не станут слишком уж нападать на того, кто тщательно придерживается начальственных установлений. При этом не столь важно, стоит за этими установлениями что-то сверхъестественное или нет: если просто соблюдать порядок обрядов, вовремя отстегивать попам соответствующую мзду и время от времени громить вместе с ними еретиков — небо (в лице власть имущих) оценит старания и отвалит что-нибудь от щедрот. Или хотя бы не станет громить, как еретика — уже легче.

Религия — это, так сказать, шизофрения с обратным знаком: шизофреник думает, что все его травят, — верующий пытается убедить себя, что кто-то обязательно поможет, если очень попросить. На деле же правы как те, так и другие: да, в этом страшном мире все готовы друг друга удавить — но могут и помочь, если речь идет о том, чтобы совместными усилиями удавить кого-то еще…

Противоположный, низовой способ почувствовать себя хотя бы в относительной безопасности — затеряться в толпе, стать всего лишь одним из. Пусть я ничтожество — но нас много, и даже если беда выкосит часть стада, кто-то все же останется, — так почему не я? На миру и смерть красна — но сама принадлежность миру дает шанс тому, кому надеяться больше не на что.

Идеалист Бахтин верно угадал низовое происхождение юмора — но не понял, что речь идет не о телесном низе, а о социальных низах, которых телесное снижение только *представляет* в рефлексии. Как бы ни пытались власти взять эту фабрику иллюзий под контроль, ее суть именно в отторжении всякого контроля сверху, в нарочитой дикости, сопротивлении «цивилизаторским» усилиям господ — пусть даже в ущерб собственной разумности, которую мы таким способом, вроде бы, пытаемся оградить: от варварской эксплуатации рабы спасаются в животности.

Как обычно, противоположности сходятся. Смех покушается на самое святое, равняет все с грязью, как бы говоря верхам: вы такие же свиньи. С другой стороны, юродство возводится в ранг божьего знака, благословенного проклятия. Скабрезный анекдот легко превращается в религиозную притчу, а писания отцов церкви — так и просятся в сборник анекдотов. Именно поэтому религию легко высмеивать — но

невозможно критиковать. Именно поэтому религиозные бредни так естественно врастают в низовую культуру: у них общие корни. И пока на земле базар — массы будут вскармливать попов и смеяться над ними; искалеченному миру нужны религия и юмор — два костыля.

* * *

Паскаль считал, что логика может удовлетворить разум, но сердцу нужна вера. Из тех же побуждений богоискатели начала XX века пытались примирить марксизм с религией.

Сама постановка вопроса — порождение вполне определенного общественного строя. Привычка противопоставлять одно другому — переодетый классовый антагонизм. Один класс стоит над другим — и узурпирует право строить жизнь по своему усмотрению; в утешение массам бросают кость: вы, конечно, ущербные, — но и без вас никак нельзя.

Паскаль отождествляет разум с рациональностью, отводя чувствам, хотя и важную, но все же вспомогательную роль. Настоящий разум не сводится ни к рациональности, ни к переживаниям: и то, и другое — лишь стороны целого, наряду с многими другими. Собственно разум возникает там, где логика не сводится к голому рассуждению, где чувства осмысленны, и нет безыдейной красоты (красивости).

С другой стороны, поиски бога — от узости мышления, забитого, замутненного религиозным дурманом. Попы (точнее, их покровители) подсовывают народу мысль, что выбора нет, — заставляют выбирать между логикой и страстью. Просвещенные философы не замечают, что есть и иная, нерелигиозная духовность, в которой существенного различия между разными проявлениями духа просто нет, — и спорить не о чем.

* * *

Когда кто-то умирает на том свете, это называется реинкарнация.

* * *

Бог подобен вору в законе: дутый авторитет, который не способен шагу ступить без своих шестерок, за которого все делают другие, и

держится он только на том, что уголовному сообществу выгодно его существование. Вор в законе только представляет настоящих воров — и потому его почти невозможно подвести под статью. Точно так же, глупо бороться с богами или дурными начальниками: это все равно, что бить больную руку за то, что она болит.

Как барин ничего не делает сам, а лишь распоряжается стадами рабов, — так и боги способны вершить свою волю только через своих наместников на земле, и нет ничего из приписываемого богам, чего человек не мог бы совершить сам. Но отвечать за свои поступки кое-кому очень не хочется — так пусть отдувается бог!

* * *

Общие идеи невыразимы в словах — они воплощаются в дела. Поскольку же приходится говорить об идеях, используют самые разные способы. Вовсе не обязательно философствовать на уровне категорий и категориальных схем, или наводить формальную науку, или искать художественный образ. Часто оказывается достаточно притчи, ходячего анекдота. Церковники активно используют эту форму общения для пропаганды религиозных идей. У «атеистов» она не в почете — а зря. Чрезмерно интеллектуальный атеизм вреден не потому, что труден и отталкивает духовно неразвитые слои; дело еще и в том, что подобная односторонность чужда разуму, она ограничивает его универсальность. Постоянная серьезность — обычное одеяние глупости. А мудрость не чуждается улыбки — и не боится выглядеть смешной.

> Едет мужик в поезде в одном купе с попом. Как водится, дорожные споры. Мужик попу:
> — Вот, Вы говорите, что верующие после смерти попадут в рай, а атеисты в ад. А остальные куда? Которым просто дела нет до всего этого.
> — Ну, для пофигистов у нас предусмотрено чистилище…
> — А я, к примеру, куда попаду?
> — Это легко выяснить. Закройте глаза.
> — Зачем?
> — Вот, видите? Вам прямая дорога в ад. Это атеисту обязательно надо докопаться до причин. А пофигист бы просто закрыл — и все…

Ограничиваться одними лишь притчами — столь же вредная крайность. Но если человек разумный может добавить к ним продукты любых уровней духовности и неисчерпаемость практики, — попам сказать по существу просто нечего, и остается лишь требовать тупого повиновения, в котором больше скотства, чем в наивностях веры.

* * *

Как только человек принимает на себя ответственность за свои деяния — он выше любых богов. Кто спихивает ответственность на других — просто скотина.

* * *

Когда евреи (или кто угодно еще) объявляют себя богоизбранным народом и узурпируют право распоряжаться судьбами других, это ***ничем*** не отличается от германского нацизма, по поводу которого у евреев столь болезненные воспоминания… Государство Израиль — достойный преемник фашистской Германии, ее копия, с другим знаком.

* * *

Как и всякий миф, перечисление имен бога — лишь иносказание, попытка уяснить себе нечто практически важное. Имя — частично, оно представляет одну из сторон (ипостасей) целого, одно из возможных проявлений. Но всякая вещь — безгранична, у нее бесконечно много сторон, а значит, и имен, — и новые рождаются по мере развития. Глупо заниматься инвентаризацией в надежде исчерпать божество, познать и освоить мир целиком, раз и навсегда.

* * *

Толкование священного писания, с точки зрения истинно верующего, есть глубочайшая ересь. Мало того, что толкователь тщится своим скудным умишком исчерпать божий промысел, — само посягательство на то, что изначально не сводится ни к какой рациональности, что чуждо самой идее разумного осмысления, есть верный шаг к разрушению всякой веры вообще. Писание дано

верующим не для того, чтобы его понимать — а для того, чтобы в него верить. Совершенно не важно, какими словами и на каком языке писаны священные книги; человеческий смысл эти слова приобретают только в контексте человеческой деятельности, а в религии они лишь символ божественной воли, намек на то, что божеству угодно от простых смертных. Кто угадал — праведник; не угадал — грех. Но человеку не дано даже узнать, угадал он или нет: это столь же божественная тайна, как и сама необходимость угадывания. Обвиняя другого в грехе (или каясь в собственных), человек примеряет роль бога на себя — а это явное богохульство.

* * *

Как бы мы ни осуждали религию в нашей современности, мы обязаны признать, что само ее возникновение не случайно, и что в каких-то условиях религия была объективно нужна и полезна — то есть, в ней было вполне практическое, нерелигиозное содержание. Причем не только в узкоклассовом смысле: инструмент физического и духовного порабощения одних другими. Людям, которые следуют предписаниям религии, реально живется лучше, чем тем, кто чем-то из этого систематически пренебрегает.

Польза тут на разных уровнях. Например, чисто физиологически: регулярные омовения — элемент обязательной гигиены; лишняя сотня поклонов — укрепляет мышцы пресса и массирует кишечник, что снижает нагрузку на позвоночник и нормализует пищеварительные процессы. Следующий уровень — психологическая регуляция. Тут море возможностей: и простое самовнушение (успокоение или обман), и удовлетворенность по исполнении (пусть даже иллюзорного) долга, и преднастройка к повседневным работам, и опора в межличностных отношениях… Наконец, есть социальный уровень: приходится жить среди людей, и взаимно согласовывать действия и ожидания; формы кооперации воспроизводятся и в формах мышления, на разных уровнях рефлексии, а в конечном итоге врастают в идиоматику естественного языка.

Родство религий и традиции в этом плане очевидно. Различие лишь в том, что традиция складывается стихийно, «снизу», и зачастую не осознается, — тогда как религиозные нормы явным образом даны извне

кодифицированы. Другими словами, религия (в этом отношении) есть предварительная ступень рефлексии, отделение подготовки действия от действия, вынесение мотивации вовне, — а это первейшая предпосылка собственно человеческой, свободной рефлексии. Сознание возникает там, где основное внимание уделяются не тому, чего хотелось бы достичь, а перестройке производства и общения таким образом, чтобы деятельность в нужном направлении стала неизбежной и порождала правильный результат «сама собой». Например, чтобы преодолеть лень, я ввожу себя в строгие рамки договорных обязательств — и тем самым как бы передаю («делегирую») полномочия контроля кому-то другому (или даже обществу в целом). Дети становятся людьми по мере такой «социализации» — взрослеют.

Однако синкретическая рефлексия сама по себе, если только этим ограничиться, легко переходит в собственную противоположность и вместо упрощения и облегчения приносит тяготы и несчастья. Так, знаменитый ритуал массового купания в Ганге — ничего общего не имеет с гигиеной, а вместо возвышения личности в контексте общего дела — подавление индивидуальности коллективом, умерщвление всякой инициативы и оригинальности.

Разум — умение сознательно подойти к собственному сознанию и самосознанию, видеть культурно-исторические рамки любых форм человеческого бытия и не пытаться сломать то, что в данных условиях объективно полезно, или навязать исторически неуместное. Разумеется, полностью отдавая себе отчет в ограниченности любых установлений и допуская отказ от чего угодно на каком-то этапе развития. Мы можем и должны поддерживать положительное содержание религий — но всячески противодействовать их догматике. Это непросто, поскольку каждый растет в своей культурной среде и не может не впитать в себя ее суеверия и мечты. Может быть, первый шаг к духовной свободе — относиться к себе с юмором. Разумеется, не забывая о том, что когда-нибудь придется сделать и следующий шаг — уже всерьез.

* * *

Попы вещают, что верующим не с чего впадать в уныние или в панику: любые бедствия для них — лишь испытание веры, лишний повод продемонстрировать душевную стойкость.

Как обычно, чисто практическое здравое зерно здесь приобретает мистически-извращенную форму. Человек разумный понимает, что мир устроен отнюдь не в его интересах, и что как раз его миссия состоит в том, чтобы сделать этот хаос чуточку разумнее. Мы знаем также, что наше открытие мира происходит не каким-то чудесным образом, а посредством упорного созидательного труда; наши знания ограничены тем, что мы уже успели совершить. А значит, следует всегда быть готовыми к разного рода неожиданностям, к неприятным, — и даже катастрофическим, — «сюрпризам». Наша способность преодолевать дикость и косность природы — показатель нашей разумности.

Пока поповские поучения направлены на активизацию творческих сил человека для преодоления ударов стихии — они объективно нужны и полезны. Как только вместо активного преобразования мира нам предлагают тупо принимать происходящее без малейшей попытки осмыслить и противостоять — это бездуховность и мракобесие. Тем более, если речь идет о поддержании и сохранении материальной и духовной нищеты.

* * *

Когда люди создавали богов, они наделяли их тем, чего им самим, как им казалось, недоставало. Поскольку же люди разные, каждый хотел своего — и конструкция получилась жутковато-эклектичная. Первобытность Франкенштейна.

* * *

Слова епископа Беркли о том, что вещи существуют лишь поскольку они кому-то «кажутся» (пусть даже «богу или духу, богом сотворенному»), не так наивны, как может показаться иному «материалисту». Беркли прекрасно видит концептуальные неувязки и пытается объяснить, как может отчетливо воспринимаемая им вещь существовать и после того, как он перестал на нее смотреть, — а потом вдруг чудесным образом появляться снова, при новом взгляде. Для этого приходится изобретать бога, который как бы делегирует на время людям свое всевидящее и несмежающееся око. Если ограничить отношение человека к природе одним лишь созерцанием — выглядит

надуманно и нелепо. Но речь-то идет о другом — об активности восприятия! Я не просто смотрю на вещи, а что-то с ними делаю, и только так они могут стать вещами для меня. Я вижу вещь не потому, что она случайно попалась на глаза, а потому что я решил на нее посмотреть, поставить ее перед собой! Попытки Беркли передать свое созерцание кому-то другому — лишь неумелая формулировка важного факта: люди живут в обществе и работают сообща; они на каждом шагу передают общее дело из одних рук в другие. И даже когда делом, вроде бы, не занимается никто, оно остается в планах общества в целом как коллективного субъекта, и кто-нибудь обязательно придет. В классовом обществе этот надындивидуальный «дух» предстает внешней силой, которая подчиняет себе каждого: рабы божьи. Но другая сторона того же самого — сама возможность индивидуальности, и в этом смысле люди сотворены «богом», общественной необходимостью. Беркли, разумеется, и в голову не приходит мысль о бесклассовом обществе, где в деяниях каждого — общество в целом, так что различие индивидуальности и всеобщности снимается в единстве разума. Христианин не имеет права равнять человека с богом. Но в некоторых религиях (например, в буддизме) постижение бога есть вместе с тем и становление божеством; так люди переходят от освоения мира к его сознательному переустройству — и становятся выше любых богов.

* * *

По немощности духовной, люди сводят разум к ритуалу. Но нам-то зачем уподобляться недоразвитым и убогим? Если бы они осознавали собственную ущербность, их можно было бы пожалеть. Если бы они сознательно истребили в себе сознание — они были бы достойны презрения. Но в любом случае следует быть осторожными в общении, не забывать о разрушительной сути неразумных стихий.

* * *

Человек все связывает со всем. В этом его предназначение. Однако многому еще предстоит научиться. И не обходится без вульгаризации, магической формы связывания: незрелость практики, недооценка собственных возможностей — иллюзии, фантазии о непосредственном

воздействии на мир, овеществлении желаний, — или, на худой конец, о доброжелательном посредничестве богов.

* * *

Буржуазные историки, археологи и антропологи любые следы прошлого склонны увязывать с религией. Тем самым они выдают за действительное. Разумеется, всякое ремесло требует специфических орудий труда — а попы всех времен и народов весьма изобретательны, они профессионально умеют пудрить мозги обывателю. Для этого придумано превеликое множество приспособлений. В частности, культовая помпезность призвана произвести впечатление, подавить и унизить рядовых прихожан. Какие-то предметы культа находились и в общественных зданиях, и в жилых домах. Это убожество сохраняется по сей день. Однако основная часть материальной культуры все-таки не для того: вещи обслуживают живые потребности людей. Чем дальше в прошлое — тем меньше собственно религиозного инвентаря. Но даже когда религия выделилась в самостоятельную отрасль производства (или, скорее, в особый бизнес) — большинство предметов культа и культовых действий сохранили значительную долю светскости, поддерживая не столько суеверия, сколько общественно необходимые формы общения и кооперации, которые в классовом обществе носят маску уродства. Религиозные инструменты приходится использовать для нерелигиозного содержания, когда невозможно привлечение более разумных средств. Именно эта, нерелигиозная (или антирелигиозная) составляющая определяет историческую значимость поступков и вещей.

* * *

Молиться можно только на образ врага. С другом общаются. От недруга надо защититься. Издавна предки пытались «умилостивить» божество, нейтрализовать его тупую агрессивность. И через это приходили к богоборчеству. Сначала в форме замены одного культа другим. Потом — против всяческого поклонения, за утверждения истинно человеческого достоинства: не быть «выше» — а устранить саму возможность возвышения, — а значит, и унижения, и низости.

* * *

Сам факт существования бесчисленных религий, непримиримо враждебных друг другу, выдает попов с головой: их деятельность не имеет никакого отношения к вере в сверхъестественное — им нужно, чтобы верили вполне земным существам, исполняли земной закон. Что скажет бог — неважно; главное — что скажет поп. А для пущей убедительности — репрессии со стороны светских властей, пытки и костры. Нет и не может быть единства веры. Всякая религия — клубок сект. Попы объединяются только там, где надо сообща удушить разум. А разум — это, собственно, и есть утверждение единства мира.

* * *

Среди разумных людей не принято запрещать или требовать. Каждый действует в соответствии со своим пониманием общественной необходимости.

Борьба с религией — та же религия. На войне — каждый убийца. Независимо от идеалов. Важно не победить, не преодолеть — а так выстроить жизнь, чтобы людям просто неинтересно было во что-то верить или кому-то кланяться.

Когда говорят: бога нет! — возникает резонный вопрос: а что есть? Можете вы предложить что-то взамен — так и боги не понадобятся. Если же ваша «замена» еще бесчеловечнее — против вас выставят какого-нибудь бога. Пусть даже вами выдуманного.

Нигилизм — другая сторона веры. Хулиганствующие рокеры впадают в мистику, политики — в религиозный фанатизм… А пока можно просто делать свое дело — никакие подмастерья «свыше» не нужны.

* * *

К богу обращаются от безысходности. Пока есть, чем заняться, пока достаточно сил, — никто про бога не вспоминает. Разве что в качестве названия для чего-то еще, удобной метафоры. Но как только дело к закату — начинается ломка, внутренняя трагедия… Именно поэтому большинство представителей «творческих профессий» под старость впадает (сразу) во все оттенки религиозности. Им есть, что

терять. Они привыкли к духовной роскоши — свободе. И не понимают, что их падение — закономерное продолжение профессионализма.

Та же проблема у стариков, которые, вроде бы, трудились всю жизнь, были полезны, — а стали не нужны. Думают: бог пригреет. Прячутся в фантазии, в удобство ритуала, — вместо поиска новых горизонтов. А суть в том, что жизнь, превращенная в рутину, губит самое себя.

Чисто капиталистическое «решение» проблемы: давайте заплатим кому-нибудь — пусть замолят наши грехи. Кому-то пригодятся твои деньги — значит, и сам ты пока нужен. Иллюзии — бизнес попов. Поэтому они всячески поощряют (богоугодную) благотворительность.

* * *

Когда «атеисты» пытаются спорить с верующими — это разговор глухонемых. Веру невозможно *убедить* — она существует в ином мире, где реальность — нечто второстепенное и погоды никак не делающее. И наоборот, взывать к чувствам убогого рационалиста — дело совершенно пустое. При этом позиция «атеиста» изначально уязвима: взывать к разуму неразумного существа — это логическая ошибка, автоматически обесценивающая любую аргументацию.

Например, верующим демонстрируют всю абсурдность библии — и торжественно провозглашают: вы совершенно не понимаете ваши священные тексты! Но тексты-то эти — вовсе не для того, чтобы их понимать. Это всего лишь опора для «медитации», один из способов сосредоточится на «общении с богом». В этом библия ничем не отличается от какой-нибудь мандалы, или исламской лигатуры. Важно только одно: текст утвержден церковными инстанциями, и возможные способы его использования определены соответствующими ритуалами. Понимание и осмысление в круг допустимых процедур не входят. Тем самым обнуляются и лингвистические экскурсы: для текста-символа совершенно без разницы, на каком это языке, и соответствует ли хоть чему-нибудь историческому. В старину сочиняли в расчете на своего обывателя, и быт эпохи проникал в книгу не для достоверности или убедительности, а в качестве сугубо рекламного хода: знакомое лучше продается. В каком-то кругу писание могло бы состоять из абстрактных обрывков, из «магических» знаков и «формул».

* * *

Всякое общественное установление верующий воспримет как сугубо религиозный акт, как утверждение одной религии и подавление другой. Строить будущее — с точки зрения религии, полнейшая нелепость: все, что нужно, уже есть — оно дано здесь и сейчас, хотя и открыто лишь посвященным. Борьба с религией поэтому не может принимать всегда одни и те же формы: время от времени требуется смена ракурса, внезапные (с точки зрения верующих) перемены… Малейший застой — и вот вам еще одна догматическая система, которую можно принять и в которую можно поверить, без малейшего ущерба для религиозности как таковой.

* * *

Важно: у древних не было (и не могло быть) мифологии как таковой — как целостности, как системы. Были ходячие мотивы, в тысячах вариаций. Какие-то из мифов оказались живучими — другие почти забыты. Разные мифы вовсе не обязаны согласовываться друг с другом — они происходят из разных мест и складывались в разное время.

Точно так же, глупо усматривать в древности единство языка — считая живые наречия обломками былого совершенства. И язык в целом, и любое языковое явление, — локальные вариации объективно возникающих типовых структур.

Идея бога — итог длительного развития тысяч первобытных верований, их абстрактная основа, обнаружить которую возможно только в расщепленном на абстрактно противопоставленные друг другу классы, «цивилизованном» обществе.

* * *

Credo quia absurdum.

Эта фраза просто невозможна в устах верующего — для которого предмет веры никак не может быть абсурдным. Не потому, что это обязательно истина — а потому, что сама оценка его в плане истинности неуместна. Веруют не «потому что», и не «поскольку», — вера не нуждается в объяснении.

Трудности перевода, конечно, влияют на современное восприятие. Латинское *quia* — это, скорее, ассоциация по смежности (вроде китайского 而); по-русски: «тогда как». И следовало бы, вероятно, понимать это как «верю и тому, что нелепо» = «верю несмотря на нелепость». Это устраняет вопрос о рациональности веры. Но сама возможность оценки предмета веры как нелепости — противоречие в определении. Верующему и в голову не придет мерить божественное земными мерками.

* * *

Верующим свойственно задаваться вопросами о божественном, что-то объяснять или оправдывать. Оно и понятно: когда пытаешься спрятаться от жизни в иллюзорном мире — надо, чтобы эта выдумка была хоть чем-то лучше окружающей реальности. Иначе — какой смысл? Вот и приходится все время испытывать веру на прочность, а убежище неизбежно дает где-нибудь течь… Единственный способ противостоять миру — всех уничтожить. Обиженные фанатики.

* * *

Доказательства бытия божьего несовместимы с религиозностью. Бога не доказывают — в него верят. Если же кого-то убеждают доказательства — какой из него верующий?

* * *

Ефрем Сирин:

> Потерпи господа в день скорби, чтобы покрыл тебя в день гнева.

В переводе: когда по жизни божьи выкрутасы совсем достали — это еще терпимо; потом одуреет — по-настоящему за**ет…

* * *

Помню, как один поп на полном серьезе объяснял: «царствие небесное» — не имеет отношения к небу; это всего лишь говорит о том, что там властвует не бес… Вот так религия умеет договориться со здравым смыслом и с любой наукой.

* * *

Атеисты рассуждают о религиозности как психической болезни. Но кто в этом больном мире здоров? Если понимать болезнь как отклонение от нормы — здравомыслящие люди несомненно больны. Когда еретиков сжигали на кострах — это сродни избавлению от заразы, чисто медицинское мероприятие… Потом научились делать прививки — промывать мозги.

* * *

Как только человек отрывается от реальности — его преследуют мистические видения. Вовсе не обязательно для этого впадать в транс: достаточно некритически поверить себе или другому. Точно так же эриксоновский гипноз подчиняет волю по видимости бодрствующего внешнему диктату, превращает разумных людей в зомби. Но самое страшное в том, что люди с детства приучены зомбировать самих себя.

* * *

Истинная вера ничего не требует от божества. Достаточно того, что это божество есть. Когда верующих начинают заманивать посулами и поблажками (как минимум, надеждой на божью милость, облегчение страданий) — это уже не вера, а коммерция. И начинается торг: поменьше отдать, побольше поиметь…

* * *

Бросаться камнями грешно. А забивать камнями до смерти — смертный грех.

* * *

Отделение церкви от государства наталкивается на формальную проблему: распорядок светской жизни не совпадает с предписаниями религии. Отсюда компромиссы: где-то государство идет на уступки, но чаще церкви приходится творить чудеса казуистики, чтобы «очистить» прихожан от официальных непотребств. Отсюда и нестабильность многоконфессиональных держав, неизбежный сепаратизм.

Однако на деле подобные конфликты связаны не с отстранением церкви от государственных дел, а наоборот, с нерешительностью, половинчатостью размежевания: речь идет не об установлении особого, светского порядка — а о подчинении одной религии другой. Когда французские революционеры в XVIII веке и российские большевики в XX веке вводили новый, революционный календарь — это было шагом к подлинной нейтральности культуры; отступление к григорианскому календарю — возвращает государство в лоно католической обрядности (что в России неизбежно дует на угли православия).

Но даже если мы подчиним распорядок жизни производственной необходимости, независимо от любых религий, — фактически, мы тем самым лишь устанавливаем иную форму обрядности, заменяем одну религию другой, когда государство начинает играть роль церкви особого рода. Таковы любые национальные праздники; отчасти таковы и конфуцианские предписания.

Чтобы верования могли действительно стать сугубо личным делом каждого, требуется установление такого способа производства, при котором каждый мог бы самостоятельно решать, как и когда трудиться на общее благо. Любое производство должно быть достаточно гибким, чтобы позволять перераспределение ресурсов и задач в зависимости от наличных возможностей, и такого понятия как жесткий график, производственный календарь, — просто не существует. Тогда каждый вправе следовать своим (религиозным или иным) предпочтениям — разумеется, при условии, что его действия не мешают всем остальным, не заставляют их участвовать в чуждой им обрядности.

Разумеется, такая свобода возможна лишь на достаточно высоком уровне экономического развития, когда общественное разделение труда уступает место его распределению и перераспределению. При этом исчезнет надобность в государстве — и, вероятно, станут излишними любые религиозные установления.

* * *

Религия всегда ниже, первобытнее искусства, науки, философии, поскольку она не дорастает до рефлексии: миф навязывают извне, нет свободного творчества, когда прислушиваются не к чужим указаниям, а к себе, к творческому субъекту (в том числе коллективному).

В этом плане традиционная система преподавания — как вещание с амвона. Опошление науки, ее примирение с религией. Якобы, нам передают знания… Но зачем? Суть-то не в знаниях, а в совместной деятельности, где каждый по-своему интересен и незаменим. Поэтому надо не просиживать часы в аудиториях, и не вбивать в себя готовые шаблоны бесконечными упражнениями, — а чем-то заниматься вместе, и учиться друг у друга.

* * *

Служение богу на практике всегда оказывается служением кому-то конкретному, взятому в его абстрактном качестве, как представитель класса. За мифами, заблуждениями и ритуалами — экономические интересы и вполне земная политика. Человек может не осознавать своей общественной роли — более того, религия как раз и призвана увести его от такого сознания и (в какой-то мере) избавить от лишних проблем, от чрезмерной, непосильной ответственности. Экономики это не отменяет, и такое освобождение — лишь видимость свободы; мнимая духовность — чисто терминологическая замена в истории класса; это приоритет корысти, когда любая религиозность — лишь иллюзия!

* * *

Взаимодействие религии с литературой — двоякого рода. С одной стороны, церковники стараются подмять под себя творца-художника (равно как и ученого, и философа). Подать духовную отраву в фантике настоящей духовности. Рекламный трюк: подманить публику тем, что ей интереснее. Однако в итоге заигрывание с разумом оборачивается против религии: религиозные тексты пропитываются тем, чего попы хотели бы избежать. Это и живое изображение (далекого от культовых предписаний) народного быта, и (сказочные) мечты о лучшей жизни, — тут же отголоски других культов и (еще не религиозных) первобытных верований. Если религиозный текст написан талантливо — его красоты отвлекают читателя от церковной догматики, заталкивают ее в самый темный угол чулана. Но самое опасное — чересчур откровенная апологетика, обнажение тайных целей религии, ее экономической

основы. Художники привыкли точно выражаться, видеть все как есть, выпукло показывать главное. Эта привычка пагубно сказывается на пропаганде — даже если пропагандист глубоко верит в то, что говорит.

Примеры «неканонических» вкраплений в библии — хорошо известны. Гораздо реже упоминаются «сатанинские» стихи корана — это пока слишком опасно, за это убивают. В совершенно зачаточном состоянии — чистка классических китайских трактатов от позднейших религиозных наслоений. Пожалуй, самым представительным корпусом нерелигиозной образности стала индийская классика — эпические поэмы, превращенные в орудие культа, испещренные поздними вставками и правками, — но оставшиеся документом нескольких эпох. Большой объем трудно пропустить через игольное ушко цензуры — поэтому пошли по пути добавления собственно религиозных глав, вставных стихов со ссылками на ведические каноны и бытовую ритуальность, — с минимальными правками старинных сказаний (от которых орды бродячих сказочников все равно не отучить).

Как и в древнейшем Междуречье, и даже в раннем иудаизме, и еще у греков, индийские боги для людей — просто другое племя. Более сильное — поэтому с богами опасно ссориться и полезно время от времени подольститься, подтолкнуть к желательным действиям. Этническая пестрота Индии напрямую отражена в мифологическом кровосмешении: чуть ли не у каждого представителя свободных сословий найдутся божественные родственники — явный отголосок первобытного тотемизма. Помимо ярких бытовых сценок, обращает на себя внимание резкое классовое размежевание: история сосредоточена исключительно на свободных (хотя бы и разделенных на сословия, касты) — а рабы совершенно бесправны, их никто не принимает за людей (хотя в некоторых строках проскальзывает осуждение связей свободных с рабами — и значит, в реальной жизни было не так уж прямолинейно). Нечто подобное мы встречаем в китайской литературе; на этом основании китайские историки даже делают вывод, что в их истории не было рабовладельческой стадии, изначальный феодализм. Скорее всего, у рабов была своя история, и устная литературная традиция, — но все это уничтожалось (вместе с рабами), и мы можем вытащить сведения об этом лишь из упоминаний в официальных источниках; такая работа у историков Индии еще впереди.

Точно так же, мы почти ничего не знаем о доарийском прошлом Индии: вытесненные на юг дравиды почти полностью вытеснены и из культуры. Они стали для ариев символом зла, всенародным пугалом. Однако этот всеобщий страх неизбежно делает дравидов носителями божественного начала и вершителями божественной воли. Когда боги скорбят о чрезмерном преумножении человеческого рода, но ничего с этим не могут поделать, — это еще одно указание на их земное происхождение. Бог Вишну предлагает обычное в таких случаях решение: кто нам мешает — тот нам поможет. Вишну подговорил еще свободных дравидов (воспользовавшись народной враждебностью к захватчикам) — и некто под кличкой Кришна («черномазый») втерся в доверие к арийцам, представляясь одним из воплощений бога; по всей видимости были и другие — но нам остался лишь собирательный образ. Одних этнических ариев всячески натравливали на других — провоцируя большую войну, в которой, по замыслу Вишну, люди (арийского происхождения) должны были основательно истребить друг друга. Все это наивная сказка излагает прямым текстом — и можно только удивляться, как, при такой очевидности подставы, «близкие родственники» все-таки поддались соблазнам легкой наживы, великой славы, кровной мести и «высшей справедливости».

Конечно, все не так просто. Скорее всего, глаза открылись уже после битвы — у тех, кто о ней рассказывал. С другой стороны, поэмы стали не только энциклопедией пороков, злейшей сатирой на нравы верхов, — но и свидетельством смены исторических эпох, утверждения классовой организации общества, вытеснения первобытно-общинных черт на периферию культуры. Понятно, что произошло это не сразу, после многовековой борьбы, — и старые представления были еще сильны, когда *Махабхарату* причесывали переписчики; оправдать новые порядки призван громадный вставной эпизод — поэма в поэме, *Бхагавадгита*. Центральный вопрос — что важнее: кровь или власть? Ответ: классовое самосознание должно быть поставлено выше родовых корней, и сохранение иерархии власти — высшая цель, ради которой дозволено пожертвовать всем и всеми. Религия освящает классовый строй и утверждает его на все времена.

Много позже, почти теми же словами, какими арийцы убеждали себя в праведности войны с арийцами, христиане оправдывали войну

против других христиан. Не раскол церкви привел к резне — наоборот, экономические интересы господствующих классов настоятельно требовали модернизации религии (где-то в форме народного восстания, где-то королевским декретом).

Но как убедить в «божественной» истине широкие массы, которым так не хочется убивать и быть убитыми? Им личное знакомство куда понятнее схоластических абстракций. И тут приходит на помощь религиозное учение о личном бессмертии, о кажимости смерти — и вечной жизни (возможно, через промежуточные этапы: например, череда воплощений). Тем самым любое зверство оправданно: убивая ближнего, мы лишь дарим ему его вечность. А раз так — не грех поживиться имуществом убиенного, в качестве воздаяния за труды. Понятно, что все это не просто так — а в качестве воплощения божественного замысла. Значит — можно не заморачиваться поиском поводов и причин, спокойно делать порученную свыше работу… Зачем идти против воли богов? Куда удобнее сделать ее припаркой от совести, пропитывая возвышенностью любую низость. Пока до меня лично губительность войны не добралась — надо брать от жизни все, ибо таков вечный закон небес.

Вот это и выбалтывает эпическая апологетика со всей первобытной наивностью. Нынешним кришнаитам, испорченным гуманистическими предрассудками, приходится замазывать пропагандистские ляпы, при помощи навороченной казуистики, объявляя их иносказаниями и метафорами, которые только посвященные способны правильно истолковать…

Идея жизни после смерти — важнейшая находка религиозного самосознания, ознаменовавшая собой переход к новому мировому порядку (прежде всего, экономическому). Жутковатый натурализм древнейших религий уравнивал всех перед неизбежностью конца — даже боги в них были смертны (вспомним хотя бы шумерское сказание о нисхождении богини любви Инанны в преисподнюю — где ее обезображенный труп навеки подвешен на крюке). А когда высшие силы вынесены за грань всякой реальности — появляется возможность выслужиться перед начальством и его милостью уподобиться ему, встать хоть на ступеньку выше других. Парадоксальным образом, воздаяние после смерти оказывается мощным стимулом поиска земных

благ — что потом получит предельно полное развитие в принципе капиталистической конкуренции.

На первых этапах такого перерождения, религия больше озабочена тем, чтобы убить веру, — а человеческие мечты сделать союзником в битве с первобытностью. Отсюда мощная гуманистическая струя в раннем христианстве — и в апокрифах других религий. Когда переворот завершен — прежних союзников можно беззастенчиво уничтожать. Но в искусстве уже закрепились образы, чуждые всякой религиозности; в науке знание освобождается от догм; в философии неистребима тяга к свободе. Мы можем отделить в наследии предков классовую цензуру от народного духа и зарождающейся подлинной, разумной духовности. И когда-нибудь сделаем это — вопреки буржуям и попам.

* * *

Религия обслуживает господствующий класс — и религиозные догматы всегда следуют за экономическими сдвигами. Это бросается в глаза при чтении каких угодно религиозных текстов. Библейские заповеди — не содержат в себе ничего божественного: это сугубо мирские установления, своего рода конспект, упрощенная схема текущего законодательства. Еще заметнее этот светский дух в исламе. Восточные религии приобретают мистический оттенок лишь в поздних редакциях — тогда как исходные тексты преимущественно регулируют отношения между людьми. Даже если это иногда приобретает форму молитвы — как в Междуречье или в Индии.

Отсюда необходимость при анализе первоисточников учитывать классовую направленность языка и брать каждое слово в историческом контексте. Так, заповедь «не убий» относится лишь к тем, кто имеет в данном конкретном обществе хоть какой-то вес; никто не запрещает убивать рабов или иноземцев. Особенно забавна в этом отношении Махабхарата: с одной стороны, боги рукоплещут с небес особо жестоким эпизодам кровавой резни — но при этом призыв: живущему зла ты не делай вовеки… Не смей убивать ни человека, ни растение, ни зверя. Да еще и прибавлением: вот высший закон! Как обычно, законы писаны для сильных мира сего: когда сжигают «миллионы змей» — никого не волнует; но едва дошла очередь до главного вредителя —

боги срочно мобилизуются на его защиту, и общими усилиями таки спасают от воздаяния за былые грехи. Наивность древнего сказителя выставляет напоказ классовую сущность религии.

Разумеется, компилятивность канонических текстов — дело обыкновенное. Куски совершенно разной природы склеиваются по прихоти позднейшего переписчика, снабжаются притянутыми за уши интерпретациями и освящаются церковными съездами под эгидой какого-либо влиятельного царька. Но было бы опрометчиво полностью списывать на это противоречивую пестроту. В какой-то мере логические огрехи здесь вторичны: они связаны с нашим, современным пониманием того, что в древности понимали иначе. Убийство, воровство, разврат для библейского или ведического человека — не то же самое, что мы считаем убийством, воровством, развратом. Однако окончательное избавление от религиозного дурмана возможно лишь там, где сами понятия убийства, воровства и разврата перестанут существовать — и не нужен будет ни земной закон, ни его «небесное» оправдание.

* * *

Религия осуждает искусство поскольку оно претендует на высшую духовность — но ничего не имеет против ремесленников, искусно пропагандирующих принятую на данный момент догматику. Более того, религия готова приветствовать абстрактное искусство ради искусства — поскольку это всего лишь игра форм, человеческая забава, никакого отношения не имеющая к потусторонним (читай: господским) делам. Поэтому, например, древний арабский прорицатель (*кахин*) как общественное явление — неизбежно вымирает с утверждением ислама, тогда как поэт (*ша'ир*) остается, и даже приобретает своего рода официальный статус: становится носителем, выразителем, символом противоположности божественного и мирского. Достаточно признать, что вдохновение поэта — от правильных богов, а его творения никоим образом не конкурируют с деяниями небес. Эта двойственность поэзии отчетливо прослеживается и в европейской средневековой литературе, где земные владыки нередко теснят с престола всевышнего. Деление искусств на «чистые» и «прикладные» благополучно дожило до наших дней; но любое посягательство на право по-настоящему творить мир,

не для абстракций, а для людей, — стремление освободить человека от любых догм, — вызывает резкую реакцию у правящих кругов и связанного с ними духовенства. Задним числом, когда искусство стало ходовым товаром, превращено в штамп, — попы могут признать его самобытное очарование и отвести местечко в жизни мирянина — или даже служителя церкви (вспомним о литературных экзерсисах римских пап — начиная, хотя бы, с Пия II). С другой стороны, художественные технологии внедряют в форму сугубо религиозных посланий, — и это совершенно естественно, ибо всякий выход за рамки канонических текстов — обращение к миру, в котором первичность материи грубо навязывает себя сколь угодно трансцендентной зауми.

* * *

Никакой поп не может выглядеть убедительно на фоне настоящего материалиста: у разумного человека есть убеждения — у попов нет даже веры…

Однако религия и не должна никого убеждать: она для того, чтобы приказывать — и добиваться тупого повиновения. Остальных — на костер.

* * *

Столь широко распространенная в полуцивилизованном прошлом практика человеческих жертвоприношений — отголосок своего рода синкретической статистики: судя по опыту, вроде бы, бомба в одно место дважды не падает — отсюда вывод: если спровоцировать смерть упасть на кого-то одного — остальным можно какое-то время не беспокоиться… В религии наивная иллюзия переосмыслена: божество перестает быть олицетворением стихии, оно не просто принимает жертву — оно требует жертв.

* * *

Когда большие богословы начинают публично приписывать богу божественные (по их мнению) качества — они, в плане веры, впадают в величайшую ересь. Божество тем самым низводится до чего-то постижимого: на него возлагается обязанность соответствовать

ожиданиям — и логично поставить вопрос о проверке подлинности. Отсюда рукой подать до отречения — ради более высоких идеалов.

Настоящий бог (если бы он существовал) не обязан следовать рекомендациям своих рабов — и ему нет дела до их сомнений. Как ему вести себя — это его дело, а верующие обязаны смиренно принимать любой исход, нравится им это или нет. Задуматься о правильности предписанного порядка — узурпация божьего промысла, первый шаг к революции на небесах, а значит, и в миру.

Точно так же, истинно верующий не имеет права самостоятельно судить о мире умопостигаемого. Например, когда Феофан Затворник проповедует добротолюбие, он, по сути, отрекается от любви к богу — единственно возможному предмету любви. В этом плане иезуиты были последовательнее: они (пусть лицемерно, только на словах) считали себя лишь орудиями провидения… Человек может быть добрым или злым, праведным или грешным, даже верующим или неверующим! — если в этом выражается воля божья, если это предначертано ему небом.

Ранний протестантизм настаивал на этой прямой связи каждого с богом; как только духовный принцип принимает форму общественного предписания — возникает еще одна религия, еще одна тюрьма для богов и людей.

* * *

Рай — когда нет никаких начальников… Когда каждый сам себе хозяин и судья. Где есть бог — рая нет.

* * *

Незамеченное у классиков: сказка о золотой рыбке — выражает стремление человека стать выше богов. Сначала мы довольствуемся тем, что дают. Потом просим. Потом требуем. Наконец, мы хотим быть не хуже. И тут нас грубо ставят на положенное по (не нашему) уставу место… Помните про лафонтеновских кумушек, цикаду и муравьиху? Обывателя приучают расценивать всякое нарушение установленного порядка как ненормальность, посягательство на устои, или просто дурь. То есть, нечто заведомо предосудительное. Церковь тут лишь одно из колесиков классового насилия — воспитание покорности судьбе.

* * *

Когда попы грозят грешникам страшными последствиями после смерти — так и тянет спросить: а кто дал вам право судить меня? Кто такой этот ваш бог — или как его там? С чего ради я должен прислушиваться к его частному мнению? Понятно, если бы он делом заслужил почет и уважение… Но, во-первых, в этом случае уже не он мне, а я ему судья; во-вторых, особых достижений вокруг себя пока не замечаю. Что остается? Узурпация власти, упоение всемогуществом, вульгарный садизм.

* * *

Все без исключения религии во главу угла ставят человеческое тело — как источник греха, как инструмент приобщения к богу (путем умерщвления плоти — или оргиастически), как возможность наказания (через смерть и боль) неугодных «небесным» властям… В любом случае человека причисляют к миру животных, не дают утвердить собственную разумность. Но главное в человеке — его неорганическое тело, особая организация вещей и общественных отношений. Стоит это осознать — и для богов места уже нет. Боги заведомо некультурны.

Вероятно, эзотерические учения потому не способны превратиться в полновесную религию, что они выводят человека за рамки органики, ищут его суть вне биологического тела. Пусть в извращенной форме — но это шаг к разрыву с верой во имя (хотя бы мистического) освоения и преобразования мира.

* * *

Теперь и в Европе и в России *всякая*, даже самая утонченная, самая благонамеренная защита или оправдание идеи бога есть оправдание реакции.

Это сказал не я. Но это мои слова!

* * *

Буржуазная «свобода совести» — это свобода бессовестности, когда любая ложь годиться, чтобы оправдать ничем не ограниченную гонку за наживой, положить миллионы людей на никому не нужные

алтари. Поэтому всего лишь отделение церкви от государства, даже с прекращением государственных дотаций и снятием льгот, — не то, к чему должно было бы стремиться общество на пути к бесклассовому будущему. Когда Ленин пишет, что церкви и секты «должны стать совершенно свободными, независимыми от власти союзами граждан-единомышленников», — это же антикоммунизм чистейшей воды! Особенно в свете разъяснения, что «священникам разных вер могут давать содержание те, которые принадлежать их верам», — и что «каждый должен иметь полную свободу не только держаться какой угодно веры, *но и распространять любую веру*» (курсив ленинский!). По сути — здесь призыв формировать подпольные антисоветские организации, фонды которых вполне легальны и неприкосновенны, и охраняются государством наряду с собственностью законопослушных граждан. Удивительно ли, что уже в конце того же века высшим должностным лицам страны вменяют в обязанность участие в каждом религиозном шабаше — хотя бы на уровне сочувственных посланий?

Нет, революция не имеет права останавливаться на полдороге и оставлять духовность в руках поповской орды (которая, как указывают сами же коммунисты, полностью на содержании у отпетой контры). Важно с самого начала провозгласить курс на *уничтожение* религии, наряду с устранением классовых различий; принадлежность той или иной конфессии сама по себе не ведет к правовым последствиям — но *должна* учитываться при распределении общественного богатства и труда: например, допуск к преподаванию *чего угодно* религиозным людям должен быть категорически запрещен. Распространение *любой* религии есть уголовно наказуемое деяние, особенно при вовлечении в религию малолетних и лиц, связанных с ключевыми отраслями экономики и органами (само)управления. Религиозная обрядность (возможная лишь там, где она не носит характера пропаганды) никоим образом не должна влиять на ход общественного производства — как материального, так и духовного.

Разумеется, речь не о том, чтоб запретить религию одним махом, кавалерийским наскоком разрушить *уклад жизни* широчайших масс. Надо бороться не с иконами, а с их использованием в религиозных целях. Большинство религий не просто навязаны обывателю — они ему *удобны*, снимают с него персональную ответственность и заменяют ее

кругом формальных обязанностей — ни к чему не обязывающим ритуалом. То есть, не *отменять* религию — а *заменять* ее подлинной духовностью, *вытеснять* из общественной и частной жизни (пока они еще различаются). Если на место религиозного предписания поставить производственную необходимость — для религии места не останется. Если эта производственная необходимость есть также и личный интерес каждого — не будет теневой экономики, включая скрытую религиозность. Да, это будет не по нраву тем, кто совсем оболванен попами и считает защиту религии личным делом. Но это отнюдь не большинство: представления о массовой религиозности — буржуазная пропаганда. Изолировать таких от сферы воспитания и образования — и через пару поколений поповщина сама испарится из массовой культуры. Это подтвердил опыт российской контрреволюции, которой пришлось прилагать титанические усилия, чтобы снова затащить массы в церкви после развала СССР: действовали и деньгами, и страхом, — но так и не смогли сделать религиозность массовой (показушность обрядности хозяев — у всех на виду).

* * *

Бог постоянно чего-то требует от человека — а от бога не дождешься ничего кроме мистического настроя души (которое, на самом деле, сам же человек себе и создает по поводу собственных деяний). В этом смысле рождение ребенка — это рождение бога. Требуется немало времени, чтобы взрослые перестали прыгать вокруг него на задних лапках и начали восприниматься как равного себе, как полноправного участника общего дела. Поклонение нередко портит бога — и он не торопится очеловечиваться, вместе со всеми работать и творить.

* * *

Взаимоотношения церкви с догматикой, теологией и теософией вполне аналогичны использованию господствующим классом любых форм рефлексии для распространения идей, удобных правящим кругам на данный момент. Разрешены очень вольные экскурсы в абстрактную теорию, рискованные интерпретации, — и даже резкая оппозиция. Если

такие экзерсисы позволяют завлечь какую-то прослойку активного населения в ряды сторонников режима — авторам уважение и почет, хотя и с оговоркой, что это не официальная позиция властей. Подует ветер в другую сторону — от неуместной креативности легко откреститься.

Учение Дионисия Ареопагита (по тогдашнему обыкновению, имя лишь условность, ссылка на продукт коллективного творчества) о небесной иерархии в Средние века идеально отвечало задачам выстраивания централизованной системы общественного управления: в помощь абсолютному монарху — три привилегированных слоя (родовая знать, служилое дворянство, чиновная номенклатура). Соответственно, на небе есть «благородное» сословие (серафимы, херувимы, престолы), есть органы правопорядка (господства, силы, власти) и есть административный аппарат (начала, архангелы, ангелы). Все триады находятся в жестком соподчинении. Ренессансные ветры расшатывают эту конструкцию: практические потребности ведут к появлению всякого рода выдвиженцев, влияние которых больше связано с экономическими и политическими интересами суверена, нежели с сословной принадлежностью. С другой стороны, низшая триада — изначально ближе широким массам, поскольку она как раз и призвана соединять небо с землей; здесь церковь подминает под себя неистребимые остатки ранних верований, причесывает язычество под благочестие: «начала» вполне соответствуют прежним представлениям о духах-покровителях (тотем), духах места или стихий; «архангелы» — духи предков, наставники, советчики и вожди; «ангелы» — другое имя для личного гения, дара провидения и способности выбирать верный путь. Поэтому, скажем, архангел (архистратиг) Михаил, предводитель ангелов и земных воинств, народу понятнее, чем заоблачные власти, — и его легко представить главой всех духов вообще. Точно так же, архангел Гавриил — прямая апелляция к заступнику, толкователю права и блюстителю высшей законности. Нетрудно усмотреть здесь пережитки родового строя, когда военное руководство доверялось выборному вождю, а бытовой арбитраж — признанному старейшине. Становление капитализма сопровождалось колоссальным подъемом активности масс, и потому церковь призывает не понимать ареопагитики буквально — и указывает на их несоответствие тексту

писания. Кто окажется ближе к богу — не нам судить, ибо ангельский мир таинственен и непостижим.

Однако мистическое учение о том, что божественная единица тождественна троице и потому всякая множественность (включая строй ангельского мира) несет на себе печать как единства, так и троичности, во многом предвосхищает современное понимание всякого единства как цельности, всеохватности и целостности, — когда мир в целом представляется трояким образом: как материя, рефлексия и субстанция. Любая философская категория, следовательно, развертывается в триаду, а триадичность снимается в категории более высокого уровня. Такое понимание иерархичности делает различие «верха» и «низа» относительным: на вершину иерархии всегда выходит одно; элементы вырастающей из этого триады подчинены вершине только в данном конкретном обращении иерархии. Такая схема графически представляется тетраэдром (правильной пирамидой):

Переверните ее, поставьте на другую грань — и отношения внутри иерархии переменятся. Грани тетраэдра эквиваленты противолежащим вершинам — отсюда двоякое понимание обращения: либо мы из вершины выводим ее строение — либо выбираем одну из граней как основу и свертываем ее сложность в нечто неделимое. Так устроена любая человеческая деятельность, и любая наука (ср. у Аристотеля: рассуждения, отправляющиеся от начал и приводящие к началам); например в кристаллографии используют взаимную дополнительность прямой и обратной решетки.

Как и всякую идею, обращение иерархий легко использовать в контексте религиозной апологетики: для каждой из ипостасей божества ангельская иерархия выстраивается определенным образом, но в каждом уровне этой структуры представлены все остальные — отсюда его собственная троичность. Церковь пока до такой проницательности не доросла — поскольку в светской философии (и в исторической практике) развитие иерархического подхода находится пока на самых

ранних этапах. С другой стороны, универсальность схем делает излишним обращение к потусторонним сущностям — все что угодно объяснимо в рамках представлений о единстве мира и человеческой деятельности.

Поскольку религия отказывается что-либо объяснять, ее картина ангельского мира будит потребность человеческого толкования. Нам не говорят, откуда взялись ангелы. Церковь склоняется к платоновской идее существования идей до творения вещного мира — и далее (следуя Гегелю) можно выводить строение мира из строения объективного духа. Но столь же возможен и обратный ход: всякая общность вещного мира есть идеальная связь вещей, которая соответствует какому-то «ангелу», абстракции духа. Человек в смерти избавляется от своей телесной оболочки — и превращается в такой бесплотный дух, становится одним из ангелов. Христианский рай поэтому оказывается населен одними лишь ангелами — и его устройство в точности воспроизводит организацию живых культур.

* * *

Атеизм — религия отсутствующего бога. Разум не может быть предметом культа — он не нуждается ни в богах, ни в их отрицании.

* * *

Вера в чудеса древнее любых религий. По сути, это первобытная форма осознания принципиальной неприродности человека разумного. Животное принимает все как есть. Человек отличает слепую стихию от того, как должно быть, происходящее само по себе — от сделанного своими руками. Когда человек имитирует (использует) природную связь вещей — это нормально; когда природа вдруг «имитирует» человеческую деятельность — это чудо, и надо разбираться, не стоит ли за ним кто-то человекообразный, с кем придется выстраивать разумные отношения.

Человек до сих пор очень одинок во Вселенной. Он несопоставим ни с чем на земле — а это противно самой идее разума, для которого существование бесконечно разнообразных воплощений — в порядке вещей. Поэтому с древнейших времен человек пытается найти

достойного собеседника — не себе подобного, а именно другого, непохожего, от кого можно было бы поучиться уму-разуму — и научить своему. С одной стороны, мы пытаемся одухотворить природу, усмотреть в ней искры разума. С другой — ищем кого-то за пределами нашего мира, кто может проявить себя только через чудо.

Религии пытаются использовать жажду чуда, создавая эрзац общения, представляя духовную пропасть между классами различием уровней разума. Действительно, возможности богатых существенно шире, чем у бедных; с другой стороны, богатые лишены той стойкости духа, которая есть у бедняков — и есть чему поучиться. Капитализм доводит расщепление разума до крайности: каждый противопоставлен каждому. Тем самым чудо полностью устраняется из обихода — и это уже перебор, отрицание всяческой разумности…

Религиозные «чудеса» слишком нарочиты, заведомо выдуманы; настоящее чудо не может быть бессмысленным — оно связано с практической деятельностью человека. Разумеется, для какого-нибудь духовного урода, которому нет другого дела как вымаливать местечко в раю, — поповские фокусы в самый раз, они отвечают его тупости и низости. Нормальному человеку интереснее в цирке: там чудеса покруче церковных, и будят фантазию, любознательность, — утверждают в человеке чувство могущества разума, неограниченной способности творить.

Чудо не вяжется с религией — оно ей противоположно! Религия делает рабов — чудо освобождает. Религия — в тюрьме прошлого, чудо — зовет в будущее. Религиозные чудеса не вызывают особого удивления — это просто положенные по церковному уставу деяния, стандартный репертуар типового чудотворца… Очередной святой — все тот же персонаж средневекового фарса, фигура заведомо лубочная, в антураже ярмарочного балагана. Конечно, говорить о человеческом можно и на этом языке — и большие художники облагораживают поповские сказки, приспосабливают к духовному движению.

Народные массы уже не верят в чудеса — однако они внутренне готовы к ним. Когда возможности человека — в тесных рамках рынка, когда нищета и бесправие режут крылья творчеству, всякий прорыв к свободе воспринимается как чудо — и мы лучше примем за него религиозную блажь, нежели откажемся от свободы как таковой.

* * *

Монастырское старчество — гораздо древнее, нежели об этом сообщают официальные источники. Распространение христианства идет в двух направлениях: церковная общинность — и церковная иерархия. Их противоположность вполне аналогична отношениям пережитков древней, родоплеменной общинности — и античного государства. Государство формально разрушает родовые связи — но не может отделаться от тысячелетней истории одним махом; скрытый саботаж или явная борьба против посягательства на древние устои проходят через всю античную историю. Старчество восходит к первобытной, доклассовой общественной организации; христианская община поначалу возрождает надежду на возрождение — становится формой классовой борьбы. Напротив, укрепление церковной иерархии и рост удельного веса предания — выражение объективной направленности общественного прогресса, от рабовладения в средние века. Не удивительно, что старчество остается на церковной периферии и никогда не приобретает собственно религиозного статуса: допустить неформальную власть религия может лишь в особых случаях, когда налицо также необходимые формальные компоненты (отсюда различие в положении старца и старицы). Тяга простонародья и просвещенных слоев к самозваным наставникам совершенно понятна: церковь — государственная структура, она не занимается собственно духом; место церкви в духовном вакууме занимают разного рода ереси, светская философия и теософия, — и часть священнослужителей и монашества. Сегодня такая самодеятельность сведена почти к нулю: существует психотерапия, массовая пропаганда — и прочие средства промывания мозгов. Общение со старцами вело к реальному очищению души, психологическому облегчению, освобождению от навязанного свыше чувства неискоренимой греховности; тем самым у человека появлялся шанс взять себя в руки и стать разумнее. Этот путь современную буржуазию никак не устраивает: им нужнее покорная тупость.

* * *

Слова религиозного человека далеко не всегда расходятся с его делами: чаще он сам расходится с собой в качестве субъекта

деятельности — и в качестве раба. Классовое общество воспроизводит свою иерархию в каждом из своих членов, заставляет их быть противными самим себе. Поэтому антирелигиозная пропаганда редко достигает цели: она обращена к частичному человеку — а суть-то как раз в том, чтобы привести духовную жизнь к единству. Без единства (хотя бы условного, временного, ограниченного) материи разума, созидательного труда, — это немыслимо.

* * *

Буржуазные историки безоговорочно считают людей прошлого религиозными — и принимают эту ложь за исходный пункт всякой интерпретации. Однако было бы столь же нелепо приписывать древним массовое неверие, представляя внешнюю набожность лишь уступкой господствующему классу, удобной маской. Дело в том, что само различение религиозности и неверия — плод исторического развития, характерная черта капиталистической формации. На ранних этапах одно неотделимо от другого, синкретически спаяно с ним. Поэтому наши современники могут выбирать из цельности поведения то, что ближе их убеждениям, — и один и тот же человек оказывается (с точки зрения буржуазной партийности) сразу в двух лагерях. Корректное описание прежних обществ возможно лишь в их собственных терминах, отражающих актуальные на тот момент общественные деления. Разумеется, самосознание участников событий, как правило, не может выявить главное — и нам придется изобретать понятия, до которых нашим предкам не удалось дорасти. Но это все-таки должны быть *их* понятия, а не проекция современности в глубь веков.

* * *

Первобытный человек не выделяет себя из природы — и потому его представления лишены мифологичности: мир для него — один живой комок. Первое разделение — противопоставление человека миру, — смутное ощущение отличия духа от всего прочего; однако человек все еще неотделим от мира — и потому в уже противостоящей человеку природе также возникает внутренняя раздвоенность: помимо собственно вещных качеств, вещи становятся носителями чего-то

совсем другого, идеальности. Обожествление стихий предшествует идее персонифицированного бога — которая следует за осознанием соединения природного и божественного в человеке. Пока я не бог — богов для меня нет.

Древние боги — сохраняют первобытный синкретизм: смесь человеческого, животного и сверхъестественного. По мере того, как человек обнаруживает какие-то формы духовности в себе, — он делает их абстрактными качествами — богами.

* * *

Паскалевский бог, который требует от людей жесточайших жертв и полной самоотдачи — но взаимен не дает ничего кроме некоторой вероятности «спасения», сохраняя в точности такую же возможность и для отпетых грешников, — подобен красотке, флиртующей с богатыми мужчинами и собирающей урожай вполне материальных «знаков внимания»: у претендентов есть шанс овладеть дамой сердца — но она в итоге может с тем же успехом отдаться ловкому проходимцу без гроша за душой. Кому нужен такой бог? Тем, кто недостаточно крепок духом, чтобы самостоятельно направлять свое духовное развитие, — кто ищет опору на стороне, моральное оправдание. По сути, такая вера демонстрирует отсутствие всякой веры. Тем больше у нее шансов перерасти в фетишизм, культ обрядности, которая выше богов.

* * *

Если бога нет — это вовсе не значит, что бесполезно молиться богу, и о чем-то его просить. Что-то делать может и тот, кого нет.

* * *

Первый шаг на пути преодоления религиозности — задуматься о происхождении собственных представлений о религии. Оказывается, что источник один: церковь. И тогда вера в бога схлопывается до банальной доверчивости по отношению к попам — которые по большей части отнюдь не идеал высокой нравственности… На это есть только одно возражение: признать, что вера вложена в душу божьим промыслом, и какими бы ничтожествами ни были земные служители

божества, они лишь орудие в руках потусторонней силы. Но даже мистический экстаз в качестве источника веры — противостоит вере как таковой, которая вообще не нуждается в источниках.

* * *

Снова про путаницу: вера и религия — разные вещи.

Религия — всегда инструмент власти; вера может быть формой протеста против любых властей.

* * *

Утопическая возможность: объявить религию частным делом каждого — и устраниться от разумного вторжения. Но дело-то как раз в том, что ни одна религия не хочет (и не может) оставаться частным делом: это принципиально общественное явление, требующее как можно более широкого круга приверженцев. Религиозность неотделима от публичности. Адептам важно *проявить* рвение — не перед богом, а перед собратьями (и конкурентами). Любая обрядность в религии — напоказ, демонстративно; в светской среде (или в логове другой веры) это и своего рода эпатаж. Публичное отправление культа оскорбляет чувства всех, кто не принадлежит конфессии, — и в первую очередь людей нерелигиозных. Но запретить показуху — равносильно запрету религии. Поэтому выбирать возможно только между последовательной борьбой со всеми религиями — и эскалацией уступок, признанием идеологического поражения.

* * *

Слово *религия* — уже предполагает духовные узы; точный перевод на современный русский: *повязать*. А человек — свободен!

* * *

Религия учит не придавать чрезмерного значения органическому телу — которое смертно и подвержено распаду уже при жизни. Точно так же можно разделаться с неорганическим телом — объявить его временностью вещей. Но как сохранить идею бессмертия, если не дать

ничего взамен? Бесплотный дух — теоретическая абстракция, фикция, излишество. Попытка поверить в нее — уже воплощение, уход от потусторонней пустоты. Поэтому все религии — против искренней веры, которая сразу же обнаруживает земные истоки божественности и тем самым уже ставит человека выше богов.

* * *

Бытует мнение, что для борьбы с религиями надо их глубоко знать. Попробуйте возразить верующему! — в ответ вам тут же укажут на ваше невежество в вопросах веры и назовут тысячи авторов, с трудами которых вы не удосужились ознакомиться…

Да, мы этого не читаем. Но так ли уж важно досконально знать врага, чтобы его уничтожить? Достаточно заметить одну-единственную уязвимость. Точно так же, чтобы отвергнуть очередной проект вечного двигателя — вовсе не обязательно тыкать автора мордой в логический ляп: достаточно сослаться на закон сохранения энергии, из которого прямо следует, что ошибка точно есть. Противопоставлять бредовой системе антисистему — это бред; надо снять системность как таковую. В физике частицы и античастицы — носители одного и того же взаимодействия; религия и атеизм — стороны одной культуры (или, скорее, бескультурья).

Нам возражают: огульное отбрасывание огромного пласта истории духа — это догматизм, фанатическое упрямство, нежелание признать, что и в религиозной форме человечеству не раз открывались великие истины… Но мы вовсе не против изучения истории религий (а значит, и религиозной литературы) в контексте собственно исторических исследований. Архитектура церквей, «церковная» живопись и музыка, мифы и летописи, — все это показывает нам самих себя с какой-то стороны, заставляет задуматься, что в этом разумного — а что следует признать недостойным человека, «технологическим шумом». Суть в том, что оценить прозрения религиозного автора мы можем только в той мере, в которой мы отказываемся от религиозности, — со стороны, с позиций свободного от любых догматов разума. То есть, усмотреть истину догматических писаний возможно лишь там, где для нее уже найдена не столь догматическая форма — и, следовательно, предметы культа представляют лишь исторический интерес: не как выражение

истины, а как пример поиска и отклонения с истинного пути. Так не лучше ли потратить (пока еще не безграничные) ресурсы человечества на творчество, производство добротных идей — вместо религиозной жвачки? Если для этого придется иной раз ограничить культовую обрядность — ничего страшного: речь не о запрете религии, а об отмене ее запретов — о переходе в иное качество, переосмыслении догм, осознании их догматичности, несовместимой с разумом, — и освобождении разума из-под их власти.

* * *

Религия начинается там, где вера отделяется от суеверия.

* * *

Все религии похожи. Потому что это религии.
Человек — не похож ни на кого.

* * *

Суеверный человек просто верит. Религиозный человек верит, что он верит, — хотя на самом деле есть лишь страх, заставляющий сбиваться в стаю.

* * *

Тысячи лет религиозность была массовым явлением — и было бы наивностью полагать, что догматы всегда приходилось вбивать силой. Разумеется, в практических вопросах люди о религии забывали; но стоило столкнуться с необходимостью общественных решений — опереться не на что, и волей-неволей приходится заимствовать идеи (или хотя бы только слова) у «профессионалов».

Религиозность как факт общественного сознания устроена так же, как и любая деятельность: пропитанный религией образ жизни (объект) внушает относительно стойкие религиозные чувства (субъективные критерии и предпочтения) — а в качестве продукта традиционная обрядность, ставшая не только внешним предписанием, но и внутренней потребностью. Любая из этих компонент может выпадать в

определенных исторических условиях; это порождает разнообразие форм религиозности.

* * *

Родство церкви и государства: и то, и другое — инструменты классового принуждения. Церковь — стена, способ отгородить одних от других, раздувать вражду. С одной стороны, внутри — иллюзия безопасности; отсюда приверженность масс религиям, фанатическая на полюсах: крайняя дикость — или экономический интерес. Никакого отношения к вере это не имеет. Другая сторона — «право» притеснять чужаков, навязывать политическое и экономическое господство. Если бы у церкви не было инструментов для осуществления религиозного насилия, она вообще была бы не нужна — и не могла бы существовать как культурная ниша. Иногда церковники откровенны — и создают аналоги силовых структур внутри церкви; иногда церковные структуры сливаются со светскими (например, рыцарские ордена). Современная церковь практически всегда прячется под маской независимости от властей (и даже оппозиционности, когда служит другой экономической группировке). Буржуазный лозунг «свободы совести» — фиговый лист поверх церковного срама. Суть политики «невмешательства» в том, что церкви официально *дозволено* натравливать людей друг на друга — и для этого создавать экономическую базу. На практике невмешательство оказывается фикцией: государство активно вмешивается в защиту церкви — против народного протеста.

* * *

Академическая поповщина изображает глубокомыслие и заявляет, что «сущностное ядро любой религии — религиозный опыт, связанный с глубинными психоэнергетическими процессами». Понятно, что эта психоэнергетика — перепевы вульгарного фрейдизма, смакующего модные словечки, не предполагая ни малейшей осмысленности. Но увязывать религиозное сознание с опытом — против церковных догматов! Для церкви — важно, чтобы прихожане не задумываясь принимали предание и проповедь; это никоим образом не предполагает собственного мистического опыта — более того, рассказы о личном

приобщении к чудесному (если они не санкционированы церковным руководством) публично осуждаются как ересь. Религиозная вера, таким образом, не имеет ничего общего с верой в богов (или иные потусторонние силы): это вера в *слова* — поскольку они исходят от официально признанного (вполне земного) авторитета (или одобрены им). Религиозный опыт, поэтому, есть опыт повиновения, послушания, выдавливания из себя человеческого, разумного — превращения в говорящий скот, в раба. Синкретические религии, где каждый вправе самостоятельно творить магические чудеса, — церковь осуждает как язычество и по возможности искореняет, привлекая государственные ресурсы. Это относится и к восточным культам: свобода медитации всегда ограничена санкционированными формами — а свободные фантазии либо вне религии, либо снисходительно подчинены ей (пока эта самодеятельность не отрицает своей подчиненности). Никому не дадут основать свой собственный монастырь (или общину), практикуя противные официальным доктринам принципы: это воспринимается как оскорбление чувств верующих — и расправа может быть сколь угодно крутой (к убийцам на религиозной почве государство относится снисходительно). Религиозная терпимость — там, где она выгодна господам, — где важна прежде всего религиозность как таковая, а не оттенки раболепия.

Но вспомним о высоколобой науке. Как нас учит якобы светская школа, академическая махина опирается на опыт — и глубинную логику, вытекающую из природы вещей. Чем это отличается от попов? Точно так же, предлагается верить в слова — а опыт оставить тем, у кого на то есть официальное разрешение и обильное финансирование. Кухонными экспериментами основы не сотрясают. Теории на коленке господ не интересуют — и к публикации не допускаются; даже если тиснуть своими силами — порядочные люди такого не читают, а все остальные не в счет. Наука легко смыкается с религией — потому что она религиозна по способу бытования в классовой культуре; защищая попов, большие ученые борются за собственные привилегии. Конечно, и в академической науке есть доля науки, аналитической рефлексии. Любая религия в мистифицированной форме открывает какие-то истины. Однако до тех пор, пока вместо непосредственного участия нам предлагают услуги всевозможных посредников, разобраться в

разумности происходящего очень непросто. Единственно средство — отделить авторитет от власти: мы можем доверять кому-то — но не обязаны верить, и при необходимости расширяем собственный опыт, отказывать в котором разумно организованное общество не должно.

* * *

Да, конечно: религия — это чрезвычайно сложное, многоуровневое и многоаспектной явление, — и есть в ней и (культурное воспитанная) предрасположенность, и догматика (доктрина), и религиозная практика (ритуалы и психотехника), и попсовые культы, и теософия, бизнес и политика, и церкви как таковые (религиозные институты). Об этом нам все уши прожужжали всевозможные апологеты. Понятно, что уесть религию в чем-то одном — никакой пользы, ибо укушенный орган тут же втянут внутрь, а снаружи ощетинятся сотней новых. Сказочный дракон. Но сказки учат нас, что бороться с такими чудищами все-таки получается — если вместо тупого отрубания голов поискать скрытую иголочку и сломать именно ее.

Любую глупость можно превратить в разветвленную систему догматов и обрядности, врастить в государственность и вырастить из этого (псевдо)науку и историю. Астрология и прочие гадания, спорт, здоровый образ жизни, экология… От религии все это не отличается — и надуманной сложности хоть отбавляй.

Суть всегда в том, что действовать человеку предлагают не в человеческих интересах — а во имя отвлеченной абстракции. А за ней прячутся другие люди — которым очень хочется богато жить за чужой счет, и для этого все средства хороши. Уберите это классовое размежевание — и сколь угодно сложные ролевые игры останутся всего лишь играми и никому не смогут причинить вреда.

* * *

По сравнению с другими культами, католицизм, возможно, самая материалистическая из религий — в теории и на практике. Допуская потусторонние силы и мистические сущности, католики во главу угла ставят вполне разумный принцип: дух не материя — но он не может существовать сам по себе и всегда представлен какой-нибудь плотью;

если эта плоть по каким-то причинам испускает дух — ее нужно заменить равноценным эквивалентом, и эта работа целиком в руках людей. Бог открывается людям не напрямую — а только через земное тело (сначала Иисус, потом его символ — римский папа); любые мистические толкования христианства — это уже секты, и терпеть их будут только в ограниченных пределах, пока нет ущерба для главных догм (и сопутствующих им материальных благ). Чудеса возможны — но их рукотворность сама собой подразумевается, как явление бога в человеке и через человека. Когда умирает папа — нужен новый наместник бога на земле; пока не вынесено решение конклава — бога просто нет, ибо ни один католик не вправе судить о духовности без апелляции к мнению церкви. Нечто похожее мы видели в бывших «социалистических» странах; напротив, буржуазная президентская республика (а тем более конституционная монархия) практически не зависит от номинального главы государства — подобно тому, как в других религиях, где человек объявлен воплощением божества, роль этого телесного символа сугубо техническая, отправление обрядности.

Материалистически понятый дух — лишь отношение тел, которое не материально в качестве отношения — но вполне может входить в состав тел как способ организации их материала, форма. Как только речь заходит о форме мира в целом — о духе вообще, — способность соединять все со всем есть не что иное как разум, проявляющий себя только в человеческой деятельности. Человек использует вещи, чтобы воспринимать и менять мир; отличие католической религии лишь в официальном признании святости, которая устанавливается вполне «научно» — путем сбора «фактов» и свидетельств, как экспертное решение. Как от капитализма один шаг к устранению самой идеи собственности и общественного неравенства — так от католического христианства рукой подать до полного безразличия к религии (включая ее отрицание и дополнение, атеизм).

* * *

Глупо спорить: бог есть — или его нет? Потому что категории бытия и небытия — относятся лишь к тому, что заведомо ограничено рамками нашего мира; если же бог (как предполагается) — существо потустороннее, мы не вправе приписывать ему какие-либо вещные

(«экзистенциальные») атрибуты, и любые наши описания говорят лишь о содержании наших представлений, но не о божественности как таковой. Именно поэтому существование бога (или иных внемировых сущностей) есть вопрос веры — без исключений. Обсуждению это вообще не подлежит — и никаких практических последствий не предполагает. А вот существование попа, который облечен властью посылать еретиков на костер — дело сугубо практическое, и в наших интересах держаться от таких подальше, а со временем вообще распроститься с подобными распорядителями. Другими словами, быть или не быть для нас может лишь то, что мы в состоянии сотворить или предотвратить; поэтому вместо глупых споров лучше ставить себе какие-нибудь (пусть даже утопические) цели — и добиваться своего, а не предположительно божественного.

* * *

Стремительное распространение ислама, успех завоевательных походов против хорошо организованных и вооруженных соседей, часто приписывают единству духа мусульман, величию веры. Отчасти это действительно так — но никакая вера не перешибет экономической необходимости, и крушение великих держав не обходится без вполне материальных предпосылок. Чтобы свалить колосса — надо лишить его опоры; но и такая, бессмысленная махина может долго доминировать над пейзажем, если некому подтолкнуть историю, подуть в нужном направлении. Такое дуновение и есть дух. Дух народа, дух кучки фанатиков, дух одинокого гения… Не суть важно. А важно, что сама по себе никакая экономика ничего не решает: это просто машина, которой незачем заботиться о будущем — здесь все настоящее. Куда поедет эта машина — решает человек. Не всегда разумно — но уже сознательно.

* * *

Одна из важнейших заслуг религии в истории человечества — конкретный пример строительства заведомо внеприродного мира. Обустраивают этот мир попы со всей тщательностью; не удивительно, что широкие массы (пока их держат в невежестве) воспринимают эту альтернативную реальность как подлинную, как разумеющееся само

собой, — и совершенно по-настоящему переживают миф, делая его неотъемлемой частью индивидуальной истории.

Но если мы способны построить один мир — мы точно так же может построить и другой; здесь начинается и борьба с ересями — и попытки приручить искусство, науку, философию (которые иногда строят убедительнее). Классовая суть религиозного миростроительства состоит в том, что право на творчество имеют лишь господствующий класс — который нанимает таланты вполне аналогично найму любой другой рабочей силы: производят творческие работники то, что им предписано, и продукт их труда им не принадлежит.

В конце XX века процесс, вроде бы, выходит из-под контроля: романы пишет всяк кому не лень — а условные реальности сериалов и фанфиков плодятся тысячами. На каждого писаку (или сценариста) попа не поставишь, и жандармы тоже за всеми не уследят. Но этого, оказывается, и не нужно! Достаточно вбить в головы пару-тройку шаблонов — и «свободное» творчество само собой окажется в пределах допусков; при этом массовость поветрия эффективно задвигает на дальнюю периферию настоящее искусство, глубокую науку, дерзкую философию… Искусственные миры — клоны все той же религиозной сказочки; как мы назовем бога — роли не играет. Возможно, чума искусственного интеллекта грянет именно затем, чтобы люди поняли, наконец, что одной лишь способности созидать недостаточно — а надо еще и мечтать, и стремиться не к очередной фантазии, а к единому миру, где люди равны — но им не все равно.

* * *

Многочисленные богословские науки, «изучающие» евангельскую историю с географией и «реконструирующие» жизнь мифического Иисуса Христа в мельчайших подробностях, — ничем не отличаются от нынешних фанфиков, вариаций на тему, развлечений и спекуляций. Различие — в характере использования продукта. И деньги разные.

* * *

Мировая история знает много доктрин, претендовавших на точность отражения окружающего нас мира (близкого и не очень) — но

в итоге так ничего и не сумевшими открыть или объяснить. Процесс пошел особенно интенсивно в последние годы, когда в распоряжении широких масс оказались простые инструменты для обработки больших массивов данных — конечно же, на базе самой передовой математики. Усмотреть кластеры и тренды теперь легко в чем угодно; запрограммировать сотни правил вывода — без проблем. Нынешний астролог не корпит над цифирью — ему достаточно карманного телефона с прогнозником и выходом в интернет для приема заказов и оперативной монетизации. Один астролог отличается от другого только объемом и пышностью рекламы. Точно так же, всякий вправе состроить лженауку о чем угодно и одинаково ни о чем. Можно красиво визуализовать иерархию ангелов и темных сил, снять эффектное видео про работу шамана, запустить онлайн-курсы по очередному фэн-шую или философии секс-игрушек…

Старые лженауки все еще в моде. Очень удобны также компиляции с восточным колоритом: все равно клиент по-тамошнему не знает — подловить на вранье не сумеет (а кто способен — те, как правило, в сетях не котируются — и урона для бизнеса ноль).

Традиционные религии, понятно, отставать не хотят. Приложений и порталов для приобщения к таинствам — немеряно. Обрядность лихо виртуализируется — и какой-нибудь крестный ход теперь больше напоминает флеш-моб, а хадж в Мекку вполне доступен в диванном варианте — но со всеми положенными ощущениями, плюс сертификат о прохождении от авторитетного религиозного бюро. Желающие вправе изобретать собственные религии — и распространять по сетям среди любителей поизвращаться. Игроки объединяются в межсобойчики, где количество членов никого не волнует — каждый развлекается как умеет, и никто никому не указ… Одна религия отличается от другой только объемом и пышностью рекламы, а также (что особенно важно!) уровнем государственной поддержки, доступностью рыночных льгот (именно здесь традиционные религии перетягивают одеяло на себя — и выдавливают конкурентов уже не только экономически, но и рычагами закона).

Почему возможна эта вакханалия? Объективно — потому что это выгодно господам, спонсирующим массовое промывание мозгов ради сохранения существующих порядков — и своих барышей. Пестрота

религиозного (и псевдонаучного) ландшафта — в том же русле, что и зеленка про биоразнообразие. Субъективный исток — невозможность свободы, недоступность разумного труда; поскольку же дух по сути своей свободен (универсален) — пробивается он на свет в извращенно-классовых формах, через эклектику эрзац-творчества, через коммерцию бессмыслицы. Иллюзорные миры — отрицательная форма (нарочитый отказ от) освобождения, своего рода протест против невозможности существовать на самом деле.

Псевдонаука беспредметна; ее не интересует окружающий мир — ей важно поддерживать свои условности и правила, а здесь практические соображения только во вред. Точно так же, религия стоит на иллюзорном основании — и как раз это позволяет ей блюсти непоколебимость догматов: если наш закон ни о чем — он непреложная истина везде и во все времена (как начальство скажет — так и правильно!). Удобнее продавать то, чего нет; на этом растут все новые финансовые пирамиды. Время от времени пузырь шумно лопается — но только для того, чтобы освободить место для новых пузырей. Чем мельче — тем пенистее. Сидеть на берегу и ждать рождения Афродиты? Не дождетесь…

Надо выходить на простор, чтобы ничто не мешало плыть в любом направлении. Можно при этом полюбоваться пеной за кормой — но пусть она все-таки останется позади, в разумных дозах, чтобы не застить горизонт.

* * *

Никому не возбраняется верить во что угодно — при условии, что это остается сугубо личным делом и никак не ограничивает воззрения или действия других… Вроде бы, все путем. Подлянка в том, что вера существует лишь в действии (или в общении) — и человек не узнает, во что он верит, пока не попытается следовать вере. То есть, придется предлагать другим способы действия и формы общения — и не факт, что они сумеют вежливо отказаться. Например, если они предполагают, что настроение начальника может отразиться на характере их труда и уровне доходов. Возможно, они заблуждаются — и начальник совершеннейший демократ… Но зачем лишний раз рисковать?

Но допустим, что верующий не начальник — и развлекается

приватным образом: *я верю в зеленый глагол с крылышками!* Ну и что? Вера не абстрактная фраза (или жест, или вещь); вера есть то, как человек действует, как он относится к другим людям. Если зеленые глаголы на это никак не влияют — нет никакой веры. Но если предлагается построить храм зеленого глагола и зеленеть всем миром — это уже реальный проект, прямо или косвенно затрагивающий интересы многих. Согласятся ли они? Скорее всего, нет. Тогда придется урвать средства и полномочия — и обеспечить-таки новую секту культовыми принадлежностями… Без этого — абстрактные мечтания и (при удачном раскладе) источник поэтического вдохновения. Соедините веру с насилием — и на выходе религия.

Верующие не блещут сознательностью — и намеренно душат сознание, чтобы не мешало верить. В частности, они вытесняют из сознания мотив классового насилия, стремления поживиться за чужой счет. Кружок любителей крылатых глаголов быстро обрастает чертами формальной общности, со специфической экономикой и жизнью по понятиям. До какого-то предела общество может это терпеть; но всякий культ есть насилие — и даже в замкнутом сообществе это противно разуму, и разум будет искать возможность прикрыть групповуху — по возможности мягко.

* * *

Наркоман сидит на игле — ему позарез нужны все новые дозы. Точно так же, религиозный дурман пропитывает ядом душу — и уже не надо убеждать правоверных в истинности их веры, в необходимости праведной жизни и религиозного джихада. Эти люди больны — у них помутился разум. Но как бы ни были нам противны эти убогие, бороться надо не с людьми — а с религией и прочими наркокартелями, которые доводят людей до болезни в очень корыстных целях. Невозможно вылечить человека, если не вылечить дурно утроенное общество, где нет у человека более разумного выхода — и нет сил терпеть.